

ГЕННАДИЙ КАРПУНИН



ПТИЦЫ ВОЛЬНЫЕ

ПОВЕСТЬ

1

Серьёзное это дело — держать голубей. Желанна минута, когда выходишь во двор, с детства тебе такой знакомый, родной, идёшь по улице, где излазил каждую подворотню, где полуразвалившиеся, давно подлежащие сносу сараи ещё хранят твои мальчишеские тайны, проказы. Не торопясь, словно собираешься закурить, открываешь секретный замок и тянешь за дверную блесту голубятни.

Она, голубятня, лишь снаружи невзрачная, холодная от грубо оббитого листового железа. Внутри же совсем иное, там — жизнь. Настоящая, с лёгким запахом помёта и буры, потому что стены голубятни шелёваны сосновым тёсом.

И воркованье, приятно успокаивающее слух воркованье: вррр... Милые, наполняющие душу теплом звуки. Ну, как вы тут без меня, спрашиваешь ты голубей, хорошие вы мои, пернатые вы мои воркунята? Соскучились без меня? Поди, в небушко ясное хотите? А, чубатый? Иди, иди ко мне. Акробат ты мой... Не хочешь? В руки не хочешь. Понимаю, тебе бы в выси голубой кубарем порхать-вертеться. Ах, как ты красиво — кубарем-то! Особенно через хвост. Это — орловский белый, из породы русских турманов. Оперение у него белоснежное, а на голове от уха до уха чуб. И глаза — тёмно-коричневые, с белыми нежными веками. Раньше таких голубей покупали только на “лету”, а теперь... На птичьем рынке — туфта в основном, с точки зре-

КАРПУНИН Геннадий Михайлович родился в 1958 году в посёлке Щербинка Московской области. Окончил Московский автомобильно-дорожный институт. Автор четырёх сборников стихов, нескольких книг повестей и рассказов, романа “Часовых дел мастер”. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

ния лётных качеств. Таких, которые “высший пилотаж” делать могли бы, на рынке не купишь, редкость. Пашка видел “катуна” у каржатника одного: голубь вертелся в воздухе одиннадцать раз. Такие фигуры выделявал — дух захватывало: на большой высоте, кувыркаясь, опускался вниз и при этом переворачивался через голову. Загляденье!..

Ну, да ладно, погодите, сейчас выпущу. Всех выпущу. Налетааетесь вволюшку. И тебя, зобастый, выпущу, не сердись. Ишь, разворковался, пузырь! И тебя, мартын. И тебя, космач... Иди, иди ко мне, не бойся. Держи хвост колесом и не бойся. Вот так... И хвост же у тебя — славный! Не хвост — опахало султаново. На тебя Гундосый глаз положил, выменять просит, пару жёлтых почтарей предлагает... Что нахохлился, зафыркал? Ну же, я ведь пошутил. Я же тебя ни на кого не променяю. Хотя они знаешь какие — почтари?.. У них банты на грудке очень уж красивые. И ещё хохолок — пушистый, словно воротничок. Точь-в-точь как у нашей “англичанки” крепдешин.

Надо же, опять об училке вспомнил. Ну, ничего, обойдётся всё. А ты, трубочок, ступай к своей голубке. Сейчас выпущу. Всех. Отведёте душеньку. Только решётку открою и выпущу. Вот так. Летите теперь в небушко: вам парить, мне — как в той песне: пальцы в рот и весёлый свист. Ну же!.. Летите. Вот так, замечательно. Ах, какие вы у меня всё-таки... птахи-пичуги!

Только не улетайте очень далеко, любите свой дом, кружите над ним. Ведь мне без вас никак нельзя. Ну, просто никак. Так что возвращайтесь всегда. Возвращайтесь в обитель свою — в свою голубятню.

Голубятня... это детство, отрочество. Это — родина. Здесь и твоё гнездо, твоя крепость, твой рай. Здесь можно укрыться от всех — от матери, соседей, врагов; на время забыть опостылевшую до тошноты школу — эту полудобровольную каторгу с обалдевшими от лицемерного усердия учителями, с очумевшей до поросячьего визга англичанкой: “Шпана, подонок, по тебе тюрьма плачет!”

Достала просто, вот и задрал ей юбку... Затмение какое-то нашло. Теперь снова мать в школу вызовут. Наверняка вызовут. И снова будут грозить исключением. Если б не Аносов, бывший директор школы, Пашку, наверное, давно бы выгнали. С его помощью до выпускного класса продержался. А зачем? Лучше бы училище закончил, специальность получил, работал бы. Так нет, приспичило матери, чтоб в десятый шёл, под присмотром находился, “чтоб не хуже других...” Как будто в училище нельзя было среднее образование получить.

Правда, если б он пошёл в училище, вряд ли до призыва бы дотянул, с его-то характером — влип бы в какую-нибудь историю. Это уж точно — влип бы. С тем же Лизой, который недавно освободился. Вторая судимость у него.

Мать непременно теперь в школу вызовут, в этом он уверен. А быть может, и вызывать не станут. Сейчас всё проще делается. Жалко её, столько сил на него угробила, перед директрисой чуть ли не на коленях стояла. Через такие унижения прошла... вспомнить — самому тошно. Ну, не даётся ему этот английский! Что же теперь, три шкуры с него драть! И Софочка Гольдберг, училка по английскому, привязалась — спасу нет: двойку за двойкой ставит. А уже четверть заканчивается, экзамены скоро. Дело, конечно, не только в двойках: нравится — ставь хоть за месяц вперёд... Но зачем же унижать перед всем классом, зачем рукоприкладством заниматься?..

Сначала он ещё сдерживал себя, не хамил, спокойно объяснил, что нет у него способностей к иностранным языкам, так она дебилом его назвала. Он и выдал: “Душмана бы вам, Софья Моисеевна, подобтели бы...” Негромко сказал, но почти весь класс услышал — кто притворно уткнувшись в учебники, кто спрятавшись за спины товарищей, дружно, с нарастающим блеянием, стали ржать. Гольдберг в ярости на него: “Шпана, подонок!..” А он стоял и улыбался: той улыбкой, которая способна была вывести из равновесия любого. Софочка и вспыхнула, со всей силы вдруг влепила ему пощёчину. Ясное дело — не сдержался.

Что ж, пусть мать вызывают. Всё равно сегодня он домой не пойдёт. Здесь, в голубятне заночует. А может, и поживёт пока. Внутри этих шелё-

ванных стен. С голубями. Сейчас конец мая, авось, не замерзнет. Домой же не пойдёт! Ни за что не пойдёт! Потому что коммуналка тоже опустылела. И Марьяша с опухшим от водки лицом. И мать с вечными своими причитаниями: “В могилу меня сведёшь!..”

Решено: так больше жить нельзя. Скорей бы уж призвали. Скорей бы... в какую-нибудь “горячую точку” буду проситься. Или в Сербию сбегу, братьям славянам помогать.

Только... как вы без меня будете, птахи-пичуги? Кто за вами присмотрит, в небушко ясное выпустит? Кто?

...Да, нелёгкое это дело — держать голубей. Даже рискованное. Особенно, когда нет поблизости Афганца или Коли-Шкелета, а подвыпившая кодла пацанов из соседней казармы ошивается возле твоей голубятни. И кодлу эту привёл Лиза — крепыш-приземок. У них не только ножи с поджигами, начинка которых свободно пробьёт дюймовую доску, — это уже устарело, у них и шпаллер имеется. Шмальнут — мало не покажется.

У тебя за пазухой тоже кое-что есть, и калибр в самый раз. А в голубятне такое припрятано, что от кодлы, если захочешь, соплей не останется. Но твои пальцы лишь сжимают в кармане телогрейки рукоять отвёртки, в аккурат заточенной на оселке. Чуть что — её острое жало, как в масло, войдёт между рёбер. И если уголовное дело — всегда можно оправдаться самообороной. Ибо сейчас тебе не резон с Лизой на конфликт идти, по всем показателям — не резон. У Лизы ушли тульские чеграши — “бабочки” — королевская пара его голубей. И кто-то навёл на тебя. А кто? Бог его знает — кто. Быть может, тот же Гундосый. А может, никто не наводил. Но только знает Лиза — есть у тебя пара астраханских, пара твоих верных сокольников, которые нередко приводят тебе чужаков. И ты стоишь, съёжившись в замызанной телогрейке, и горько, ой, как горько жалеешь, что нет сейчас рядом Афганца или Коли-Шкелета, нет старших товарищей, нет братья, авторитетом которого ты мог бы теперь прикрыться, как щитом. Нет того, кто пошёл бы с тобой на всю эту кодлу, один бы пошёл, невзирая на новый срок.

И ты не рыпаешься, не борзеешь. Не с кем. Кишка тонка. Ведь та пристраж, которая козыряет каждым своим приводом в милицию, те несколько шпановатых на вид мальчиков, что сейчас находятся рядом с тобой, они как бы незаметно — в сторону, обезопасив себя молчанием, непотворением, подставив твой живот. Потому что неплохо знают придурка Лизу, знают, по сколько ходок, за что и какие срока мотают его братья.

И тебя бьёт мандраж. Ты, сжавшись пружиной, терпишь унижения и не рыпаешься. Только как будто невзначай вдруг вспоминаешь глаза той беззащитной девочки, с которой несколько лет сидел за одной партой, списывая диктанты и контрольные, и которую оскорбил перед всем классом. Вспоминаешь тот двухлетний давности день, когда она отсела к этому очкарику Оське, бросив тебя на произвол учителей. Вспоминаешь её презрительную уничтожающую ухмылку, превращающую тебя в ничто. В ноль. И тебе, как никогда, вдруг хочется ещё раз заглянуть в её умные тихие глаза, прижаться к её теплому хрупкому плечу и сказать: “Прости. Прости и вернись”. Но этому уже не бывать. Никогда. Она не простит. И ты это знаешь. Потому что за два года не сказала тебе ни слова — эта худенькая девочка с пухлыми губками и милой, притягательной обворожительной мордашкой. Эта гордость класса. Эта почти созревшая Мальвина. И ты начинаешь ненавидеть её. Ненавидеть себя. Ненавидеть очкарика Оську. Потому что ты — ничтожество и трус, способный унижить лишь слабого. Потому-то ты стоишь теперь и не рыпаешься, и тебя бьёт мандраж. Дёргая носом, размазываешь по щекам красные сопли, стараясь не выдать паскудного страха перед всей этой кодлой, перед своими приятелями. Но страх, как назло, ползёт — змеёй, от колена к паху. И выше — под самые ребра, в грудную клетку закрадывается. И ничего ты с собой не можешь сделать. А он — страх — уже в каждом мускуле твоего лица. Но ты делаешь вид, что тебе не страшно, что ты спокоен. С виду вроде бы спокоен. Но чуть-чуть начинают подрагивать колени.

И ты меняешь позу, ставишь левую ногу на перевернутые дровяные козлы. Лишь в глубине сознания, на свободном ещё от страха островке твоего мозга в бессильном отчаянии разыгрывается фантазия: ты мысленно берёшь в руки автомат Калашникова и остервенело, очертя голову бьёшь из него в упор всю эту кодлу. Бьёшь. В упор. До последнего патрона. Остервенело. С наслаждением. Крошишь их обезьяньи лбы и так же нагло, с презрением заглядываешь им в их расширившиеся зрачки.

Но ничего этого не происходит. У тебя нет “калашникова”. Правда, есть кое-что другое, но сейчас этим другим воспользоваться никак нельзя. Нельзя даже косо взглянуть на своих врагов. Им — можно. Их в эту минуту больше. И дело вовсе не в том, что у Лизы в кармане может быть ствол. Просто поблизости нет Афганца и Коли-Шкелета. Нет брательника, который пошёл бы за тебя на новый срок. За которого пошёл бы и ты. Нет его — твоего спасителя, твоего старшего надёжного товарища.

Вот и размазываешь молча по щекам красную мокроту, слизывая солёную кровь с разбитых губ, стараясь не выдать страха и зря не блефовать. С напряжением ждёшь развязки. А она близка: Лиза самолично хочет заглянуть в твою голубятню, убедиться, что нет у тебя тульских чеграшей, что не припрятал ты их в потайном ящичке. Но он не войдёт в голубятню, этот крепьши-придурак. Никогда не войдёт. Потому что у тебя нет его “бабочек”; потому что ты “не пацан какой-нибудь, а честный ффраер, не лох и не козёл”, и под Лизой ходить не станешь.

“Блатуешь, сука!” — вскипает он. “Нет ключа. Обыщи!” — срывается ты на всхлипывающий крик, так как нервы не выдерживают внутреннего напряжения, и ты медленно, в полшага, наступаешь на Лизу. Но это не блеф, нет, ты просто устал от страха и хочешь, чтоб и впрямь он тебя обыскал, потому что уже успел незаметно занюхать ключ между брёвен, что сложены невысоким штабелем возле голубятни. А без ключа в голубятню не проникнуть. И тебе уже плевать, что со стороны за тобой будут наблюдать твои же приятели-погодки, будут смотреть, как методично будет шмонать тебя Лиза. Тебе уже почти всё равно. Благо, что твоего позора не видит та девочка, которую ты оскорбил два года назад. И, быть может, поэтому ты не очень ропщешь и даже в чём-то оправдываешь самого себя. Ведь ты и так достаточно унижен. Потому как не ответил на подлый неожиданный первый удар. Не ответил. Стерпел. Так что не рыпайся: расквашенный нос и губы всё-таки не так страшно, нежели дробь в заднице или пика в боку от обкуренного дурью Лизы. И пусть твои дружки смотрят. Пусть. Тебе не стыдно. Ведь завтра, с этими же дружками ты будешь ходить по дворам и собирать свою кодлу. И никто не спросит — куда? Все без вопроса поймут — Лизу гасить. Но для страховки ты возьмёшь с собой взрослых: Афганца или Коллю-Шкелета. Они, вероятнее всего, вмешиваться в разборку не станут, не в жилу им с гольцами связываться, но они — поддержка огромная: с ними и дух боевой, и чёрт не страшен. Ты подпояснешься старым отцовским армейским ремнём с тяжёлой, круто загнутой бляхой, а железну брать не станешь, чтоб без всякого криминала. Быть может, возьмёшь с собой Славку Романова: он не только хорошо на гитаре играет, но и каратэ владеет.

“Обыскивай”, — делаешь ты ещё шаг, приближаясь к своему позору, ибо знаешь: завтра вся школа будет говорить о том, как шмонал твои карманы Лиза. Но ты загоняешь подобные мысли вглубь, в никуда; как бы уже не замечаешь — сознательно ли, от страха ли, — что вся кодла с животным азартом, наэлектризованно глазееет на карман твоей телогрейки, откуда торчит металлический кончик острого жала. Да, ты этого не замечаешь. Почти не чувствуешь, как в глубине кармана пальцы правой руки сильно сжимают скользкий от пота пластикат отвёртки — той самой, в аккурат заточенной на оселке.

“Ну?!..” — торопишь ты Лизу, надеясь скорее покончить с постыдным обыском. И все — и кодла, и твои приятели — с нетерпением ждут действия Лизы. А ему до тебя — шаг. Но он медлит. Крошит табак разломанной сигареты себе на ладонь, кидает его в рот и жуёт. В злых его глазах появляется нездоровый блеск. Это кульминация. Но проходит время, а он мед-

лит. И ты догадываешься, — он трусит, боится сделать этот решающий шаг. А табачная жвачка — понт, обычный приём, который, бывало, проделывал ты сам, попадая в ментовку. И всё же, сохраняя достоинство авторитетного жожака, Лиза не спешит снять напряжение: последнее слово должно остаться за ним.

“Ладно, баклан, ещё поговорим, время ещё будет”, — предупреждает он. Это не только угроза, это — надрыв. Боль. Но кому, как не тебе, понять его боль, пропажу его голубей. И страх незаметно и медленно отступает. Развязка ясна: тебя не станут шмонать, как последнего шестёрку в школьном туалете. Ты избежал позора. Даже возвысился в глазах своих приятелей: никто из них не скажет, что ты трусил. Потому что ты не дал бы себя обыскать. Не дал бы! Ударил бы отвёрткой, что находится в правом кармане твоей телогрейки. Все это поняли. И Лиза, который уводит свою кодлу. Он проиграл в этот раз. Впрочем, то, что сейчас произошло — лишь прелюдия. Настоящий разбор впереди. Это все понимают. И хочется крикнуть вслед этим, что уходят: нет у тебя их “бабочек”. Нет! Но поборов искушение, лишь присаживаешься на сложенные невысоким штабелем брёвна, чтобы достать заныканный ключ, слышишь, как не очень громкие, но хлёткие глуховатые ряды потрясают воздух: несколько дробинок рикошетят в тебя, не причинив никакого вреда.

“Встретимся, — скрипя зубами, думаешь ты, — обязательно встретимся”.

2

Сначала приснился сон: широкое, почти безбрежное полотно синевы, отливающее золотистой голубизной. И этому иссиня-голубоватому простору нет ни конца, ни края. И небо, и море такие яркие, солнечные, такие одинаково прозрачные, что в них таял горизонт, растворялся. А на фоне этой синевы, изогнувшись бумерангом, как бы застыла в своём стремительном полёте белая чайка. И всё так живо, красочно, контрастно было во сне, что Пашка потом удивлялся: откуда бы это? С чего бы такому присниться? Как в цветном кино. Ведь он ни разу, кроме как в том же кино или в иллюстрированных журналах, не видел живьём моря и чаек. А тут, как наяву: вот оно — море, перед ним, хоть ныряй. И чайка — белая-белая, крылья, как пики, и наконецники пик — чёрные.

Пашка часто вспоминал тот сон. Иногда, перед тем как уснуть, закрыв глаза, представлял в своём воображении море, сливающееся с небом, белую чайку. Память не затухивала первоначальную картину, но уже и не могла с прежней отчётливостью восстановить её в воображении. И всё же он ждал: может, хотя бы ещё раз присниться; случается ведь такое: снятся же людям сны целыми сериями. Он даже слышал что-то об этом. Но живописный сон с морем и чайкой так и не являлся. А позже стали сниться голуби. Правда, не цветные, а обычные, как в чёрно-белом кино.

Сейчас, наверное, трудно вспомнить, кто первым во дворе начал держать голубей. Во всяком случае, Пашка сказать бы точно не мог. На его памяти, кто тогда слыл в их дворе первым голубятником, был Сёма Хромой. Пашка помнил Сёму плохо. Помнил лишь его высокую худощавую фигуру, и что Сёма всегда кособочился при ходьбе, появлялся на улице с расстёгнутой ширинкой. Помнил ещё, правда, тоже очень смутно, так как Пашке в ту пору было года четыре или пять, похороны Сёмы. Первые на Пашкином веку похороны, ибо раньше он никогда не видел покойников.

Красная крышка гроба с прибитым к ней чёрным матерчатым крестом стояла под лестничным деревянным маршем на первом этаже, у стены; несколько скудных венков, которые выносили из комнаты Сёмы; разбросанный на дорожке вдоль дома еловый лапник. Надсадный с причитаниями плач Марьяши, когда возле подъезда на табуретки ставили гроб с покойником. Мать держала Пашку на руках, и он мог видеть восковой, с крутой горбинкой нос Сёмы, его впалые сморщенные веки в глазницах; образок в сложенных на животе ладонях и непонятную бумажку, как бы полуобручем окаймлявшую жёлтый лоб.

Прошло немало времени, прежде чем Пашка смог преодолеть в себе страх и безбоязненно заходить в свой полутёмный подъезд. А ещё он боялся — услышал от старушек, — что душа Сёмы сорок дней и ночей будет обитать в “покоях” усопшего и что в одну из них вдруг да зайвится к нему, Пашке. Но постепенно страхи прошли, забылся и Сёма Хромой. Остались от него лишь голуби. И комната с овдовевшей пьяницей Марьяшей.

У голубей как-то сам собой нашёлся хозяин. Им стал Коля, сосед по дому. У него было странное прозвище: Шкелет. Его многие так и называли — Коля-Шкелет. И он вовсе не обижался. Наверное, потому, что внешне совсем не был похож на “шкелета”: жилистый, крепкий, среди дворовой пацанвы он был самый сильный и задиристый. Словом, хулиган. Но Пашка в ту пору был ещё мелюзгой, в основном мог рассуждать лишь со слов взрослых. Брата Володи, к примеру. От него, кажется, и услышал, что Колька выкупил у Марьяши голубей вместе с голубятней за литр водки. Брат неотлучно, сколько помнит Пашка, всегда ходил с Колей: куда один — туда и другой. Вместе и голубей держали, вместе и голубятню перестраивали недалеко от прятавшейся за яблонями беседкой, возле старых подгнивших и давно подлежащих сносу сараев, где всегда под вечер из ближайших дворов и улиц собиралась местная шпана, нарушая тишину рёвом мотоциклов и мопедов. Для ребят это было самым романтичным местом: здесь играли в “сику” и “буру”, слушали магнитофон, пели под гитару разные песни — безобидные и похабные, блатные и так себе, не очень; приучались курить и пить вино. Впервые выпил здесь и Пашка. Впервые попробовал курить. Правда, в тот же день получил серьёзную взбучку от брата. Да такую, что надолго позабыл о вредных привычках. Хотя тайком покуривал: не матери с отцом боялся — брательника. Даже когда Володя находился в колонии, Пашка ещё долгое время старался не курить на людях.

Чудные были времена, весёлые.

Как-то зимой брат принёс домой обмороженного голубя. Затянутые мутноватой плёнкой глаза птицы, казалось, последний раз видят свет. С трудом верилось, что голубь выживет. Сунув под горячие батареи кусок войлока, положили на него белый неподвижный комочек. Через некоторое время комочек ожил, затрепыхался, а вскоре ошалело кружил по комнате, хлопал крыльями, брызгая мелкими порциями помета.

В тот же вечер брат отнёс голубя. Но Пашка был рад, что голубь выжил, и когда приходил к голубятне, просил показать ему “обмороженного”. Постепенно сам привык к голубям, полюбил их. А однажды с Колей-Шкелетом на птичий рынок поехали. Брательник не брал, а Колька разрешил. С ним было всегда интересно, он позволял иной раз затянуться папироской: смешает табак с коноплей, утрамбует аккуратно штакет и даст посмолить. Правда, Пашке это совсем не понравилось, он и пробовал-то всего раза два. Брат об этом, конечно, не знал.

Вообще-то Колька многое позволял Пашке. С ним было не так, как с брательником: тот постоянно Пашку от чего-то “ограждал”, а Коля-Шкелет, наоборот, давал полную свободу. Он же и советовал, если надумает Пашка голубей заводить, то для начала желательно покупать спарованных птиц и недорогих. Лучше всего покупать ранней весной или поздней осенью. Голуби, приобретённые весной, быстро вступают в паровку и дают приплод. Но начинать надо с нескольких пар. И тут столько всяких подвохов, о которых сразу и не расскажешь. К примеру, на рынке всегда большой выбор голубей, многие продаются по доступной цене, но опытный голубятник хорошего голубя дёшево не отдаст. Да и на рынке покупать птицу не станет, а только в голубятнях. Коля-Шкелет так и поступает. Когда Пашка с ним по рынку шёл, Колька почти не обращал внимания на продавцов, чересчур нахваливавших своих голубей, даже если продавца соседи поддерживали. Он птицу интуитивно чувствует. А если решит купить, как врач пациента, будет голубя осматривать: клюв, веки, глаза проверит, даже восковицу. Такую канитель разведёт про цвет или рисунок, так голову заморочит — финиш просто; каждое пёрышко у голубя осмотрит, всю структуру его оперения. И обязательно к чему-нибудь придерётся: или жёсткость корпуса у птицы не та,

или посадка нескладная. А то начнёт прощупывать грудь и найдёт, что она узкая и впалая, а мускулатура плохо развита. Пашка, конечно, понимал, для чего вся эта процедура: чтобы цену сбить. Колька после того, как у них с брательником все голуби издохли (поговаривали, будто бы это дело рук Марьяши, будто она им корм отравленный всучила, когда Коля-Шкелет её с выпивкой обманул), покупал камышинских и астраханских. Ещё купил пару луганских трясунов да московских монахов. И несколько “бойных” космачей. Отличные голуби, с хорошим лётом: крыльями хлопают, в воздухе кувыркаются и ногами при полёте гребут, точно вёслами. Колька их почти месяц со связанными крыльями выпускал, чтоб к дому привыкли и хозяина признали.

По правде сказать, Кольке и брательнику не очень везло. Поначалу ни один не ушёл. Выделялась пара астраханских: не голуби — ястребы, они точно знали границы лёта, строго держали круг и нередко приводили чужих. Но в начале лета кошки задрали луганских трясунов, а крестового монаха — голубку — “увёл” Щека, чей питомник находился в Макарьино. Пашка помнит тот случай очень даже хорошо. Как же ему было жалко трясунов! Он тогда, наверное, возненавидел всех кошек на свете. Растерзанных птиц он захоронил на пустыре недалеко от голубятни, воткнув в маленький холмик земли самодельный крестик из щепы. Крестового монаха выкупили у Щеки. Но тем же летом ночью украли всех голубей. Вору залезли в маленькое окошко, предварительно выставив рифлёное стекло.

Искали по всему району. Логика голубятника подсказывала: если похитители местные, то держать у себя птиц не станут, — голуби непременно вернуться к прежнему хозяину. По крайней мере, часть из них. Значит, выгоднее всего их продать. А продавать, вероятнее, будут на птичьем рынке.

След действительно обнаружился на рынке. У невзрачной наружности мужика Коля-Шкелет опознал несколько своих голубей. Осторожные расспросы выявили, что птиц украли братья Мордасовы, — очень уж сходились приметы.

Мордасовы жили в казарме, когда-то построенной для рабочих-путейцев. Папаша с двумя старшими отпрысками в то время держал в страхе чуть ли не весь посёлок (тогда был ещё посёлок). Знаменитым он слыл городушником, в основном по магазинам “слесарил”. Их так и называли: Морда Старший, Морда Средний, Морда Младший. Старшим, разумеется, был сам родитель. Может, поэтому его младшему, третьему отпрыску вышеупомянутое мерзкое прозвище не досталось. В самом деле, смешно как-то, если, допустим, этого козлятника назвать Морда Младший-Второй. Вроде как из династии английских или французских королей. И прилипло в конечном итоге к младшему саркастическое прозвище Лиза.

Словом, Коле-Шкелету предстояла серьёзная разборка. Дело немного облегчало то обстоятельство, что кто-нибудь из Мордасовых по очерёдности, как бы в обязательном порядке, отсиживал срок: только освободится один, как место его занимает другой. А то и все разом.

В тот день во дворе собралась вся местная шпана. Многим поперёк горла стояли Мордасовы. Даже Щека пришёл — добродушный и глуповатый на вид здоровяк-переросток. За ним тогда укрепилась слава первого голубятника в округе. В его питомнике находились такие матёрые “солисты”, с которыми он отваживался заезжать в глубинку, и эти голуби нередко приводили ему чужаков. Держал он в основном почтарей, имел возможность отсаживать чистопородных голубей и получать от них неплохое потомство. Которые были попроще, тех пускал в гонку. Из них выходили хорошие лётные птицы. Отдельных самцов он специально не паровал, и они ему за очень короткое время могли заманить в голубятню достаточно много самок. Но для Щеки это был промысел, все это понимали. К нему со всего Союза (тогда ещё был Союз!) голубятники приезжали за молодым. А ещё он отчаянно дрался, до жестокости. Не единожды был бит, но никогда не отступал. Стебанутом был этот Щека, а внутри — мутный, не поймёшь, что у него на уме: в горячке мог, наверное, и убить. Он и прозвище получил за уродливый шрам на щеке. Хотя получил он его не в драке: мало кто знал, что шрам у него остался ещё с раннего детства — зимой, съезжая на санках с горы,

он врезался в кустарник, перевернулся, и один из полозьев саней острым дюралевым углом пробил ему щеку. Оставшийся на всю жизнь грубый шрам заставлял остыть некоторые резвые головы: если щека с рубцом вдруг начала нервно подёргиваться, значит, быть потасовке.

Собралось человек двадцать. Но пошли не все, а лишь те, кого отобрал Коля-Шкелет. Отправились ближе к вечеру на веранду в ДК, где в летнее время до полуночи гремела дискотека. Мордасовы вечерами часто там ошивались.

Володя по такому случаю надел тогда белые брюки — “шкеры”, как он их называл. Пашка спросил, зачем он надел белые? “Чтоб кровь была видна”, — то ли в шутку, то ли серьёзно ответил брат. Пашку, увязавшегося было за взрослыми, Володя прогнал, строго наказав обо всём молчать. Увидел он брата лишь на следующее утро. Крови на брюках не заметил, но рубашка у него была порвана, а на скуле розовела большая ссадина. На вопрос: “Кто кого?” — брат ответил кратко: “Мы — их”.

Вскоре по посёлку слух пошёл, будто бы Мордасовых сильно избили, а один из братьев лежит даже в реанимации. В Пашкин двор заезжала “канарейка”, ходили по квартирам два молоденьких сержантика и Выручка — усатый пожилой старшина участковый, — спрашивали Коло-Шкелета, который куда-то исчез, как сквозь землю провалился.

Позже выяснилось, что менты приезжали вовсе не за Колькой, а просто “служба им так велит”. Короче, пустили это дело на самотёк: слишком уж беспредельничали Мордасовы.

Где-то через неделю объявился и Коля-Шкелет. А ещё через несколько дней рано утром обнаружили во дворе подвешенных на суровой дратве к перекладине беседки чёрных шпанцерных. Мордасовы всё-таки нашли слабое место в бунтарской Колькиной душе. Уже в то время о некоторых изуверствах братьев ходила молва, но как-то с трудом верилось. Будто бы Морда Младший до такого безрассудства “любил” своих голубей, что у него порой “крыша” ехала. Рассказывали, как однажды у него “ушёл” самец — чистый белый. Морда голубя выкупил, прилично переплатив. Но тот ушёл второй раз. Тогда, выкупив его вновь, Морда связал голубю крылья и бросил под колёса грузовика.

И всё же Пашке с трудом верилось в такое. Не хотелось верить. А когда Колька снимал шпанцрей с “виселицы”, нервными дрожащими пальцами отвязывал удавку, разглаживал ещё сохранившиеся на головках птиц пушистые хохолки, у Пашки судорожно затрясся подбородок и потекли слёзы. А потом он и вовсе зарыдал. И сквозь рыдания он отчётливо услышал, точно под ухом зашипела змея, угрожающий голос Коли-Шкелета: “Замочу падлу!” И Пашка чего-то очень испугался; что-то холодное, почти ледяное стальным клинком вонзилось в его сознание. Быть может, белая чайка с чёрными наконечниками пик на кончиках крыльев пролетела над ним?

Тем же летом Коло-Шкелета посадили: он сдержал своё слово.

3

Пять столетий назад вёрст сорок южнее Москвы некий атаман Макарка стоял с войском в одном из урочищ подмосковного леса, защищая подступы к городу от татарской орды. С тех пор образовавшееся в том урочище село сохраняло ещё название Ордынцы, хотя официально значилось как Макарьино.

При последнем самодержцке российском на макарьинских землях, на жирных красных глинах предприимчивый купец заложил кустарное кирпичное производство. К этому времени село имело церковно-приходскую школу. Вокруг него вместе с церковными землями лежали помещичьи усадьбы. Возможно, и стало бы Макарьино процветающим селом, если б не пряталось в березняковых рощах и дубравах, отделявших его от главной Серпуховской дороги, если б не пошло расти другое село, что легло севернее версты три.

Откуда Пашка всё это знает? Так от Миши Понника. Он у них самый начитанный и умный в классе, и если на академика ещё не тянет, то на про-

фессора — непременно. Они с ним за одной партой вот уже два года сидят. После того как Мальвина от Пашки пересела к Оське Шмулю. За это время Пашка столько всего узнал от Понника, сколько не узнал за всю свою сознательную жизнь. По истории в основном.

Вообще-то Миша много чего из истории рассказывал. Но это не означает, что он — исключительно гуманитарий. Вовсе нет. Он и по другим предметам пятёрки имеет. Просто Миша хочет поступать в историко-архивный: он сейчас называется Российский государственный гуманитарный университет. У Миши мечта: историком стать. Потому на золотую медаль старается школу закончить. И Мальвина — тоже на медаль. Но у них ничего не получится, так как Оська Шмуль — тоже претендент на золотую. По правде сказать, его не Оськой зовут, а немного иначе, но Пашка нарочно “подсократил” имя, первую букву убрал, чтобы Шмуль не выпендривался слишком. Его теперь весь класс так зовёт: Оська. И ничего — отзывается, прижилось имя-то.

Понник на днях сообщил, что Софочка насчёт медали “удочку закидывала”: не будет ли Миша против, если по её предмету у него четвёрка выйдет в четверти. Надо же, куда клонит! В историко-архивном как раз вступительный экзамен по английскому, и в основном туда медалисты поступают.

Что Софочку Гольдберг Шмуль-старший с потрохами купил, всем уже давно известно. Говорят даже, что она его любовница, хотя врут, наверное: Оськин отец на свои деньги может таких аллюр купить — любой падишах позавидует.

Бурцева — директриса — тоже хитрую политику ведёт, не лучше Софочки. Но ничего, Пашка общественность на ноги поднимет. На попечительском совете выступит. Школу в биржу превратили!

Про общественность и попечительский совет он, конечно, приврал: на Арнольде, то бишь на Оськином отце, весь попечительский совет и держится. Но Пашка всё равно это дело так не оставит. А если кто думает, что он у Понника списывает на уроках, — глубоко ошибается. У него с ним чисто дружеские отношения, а дружба — святое. Жаль только, что Миша не из их двора. Хотя Пашка давно всех предупредил: кто Понника обидит, тот будет с ним, Пашкой, дело иметь.

Миша и сам старается в обиду себя не давать, но мало ли что: сейчас столько хулиганья, просто беспредел какой-то. А Понник ростом — метр с кепкой. Поэтому и занимается каратэ — Слава Романов его сагитировал. Он в начальных классах акробатикой занимался. Сейчас все кому не лень каратэ занимаются. Или аэробикой. Пустое всё. Лишь в кино — трюки эффектные, где один двадцать человек мочит. Метелят друг друга по рожам — даже следов не остается. Смешно, ей-Богу. Афганец как-то одному бычаре своей правой кувалдой между глаз звезданул (тоже каратисту), так Пашка, когда на следующий день этого бычару увидел, не узнал: не рожка — баклажан.

А Миша Понник очень интересно и складно рассказывает, слушать его — одно удовольствие. Например, как городок их возник.

По свидетельству старожилов, ещё в самом начале прошлого столетия близ урочища Липки лежало богатое имение помещика Чепрыкина. Для своих крепостных заложил он сельцо, состоящее тогда из семи дворов. Спрашивали крестьян: “Чи вы, мужики?” — “Да, вишь, Чепрыкины мы...” Так и пошло название сельца — Чепрыкино.

Самое же интересное вот в чём: при нашествии Наполеона на Москву бежал Чепрыкин из своего поместья, зарыв где-то у прудов свои ценности, а после в своё родовое имение так и не вернулся. С тех пор оно перепродавалось из рук в руки, закладывалось, дарилось. Даже, говорят, в карты проигрывалось. Миша показывал копию документа с точной его датировкой, в котором видно, что одно время помещьем владела некая “госпожа поручица Екатерина Васильевна Лопухина”, что по её заказу составили план Чепрыкина и что “к сему плану Мировой Посредник 1-го участка Н-го уезда полковник К. с приложением своей казённой печати руку приложил”.

Пашка, когда про клад узнал, — тот, что Чепрыкин где-то у прудов зарыл, несколько дней ходил как шальной. Это же подумать только: все годы

почти каждый день возле прудов ошиваться, рыбу ловить и лишь недавно узнать о кладе. Может быть, он по этому кладу ходил, то есть наступал на то место, где ценности зарыты. Он предложил Поннику поиск клада начать, посвятив в тайну двух-трёх ребят и приступить к поиску. Но Миша скептически к его замыслу отнёсся. Во-первых, ценности Чепрыкина вовсе не тайна, а предание народное. Во-вторых, возможно, что это просто слухи. В-третьих, одними лопатами тут вряд ли обойдёшься, а прибор, которым можно землю, как рентгеном, просвечивать в глубину аж до пяти метров, очень дорого стоит. И в-четвёртых: где гарантия, что ценности не нашёл кто-то другой? Ведь столько событий произошло почти за двести лет! Ещё при помещице Лопухиной господская часть имения подверглась переделке. А после отмены крепостного права и вовсе многое изменилось. В двух верстах западнее от Чепрыкина из Москвы до уездного города пролегла железная дорога, правда, ещё без остановочного пункта: стояла лишь путевая казарма, возвышавшаяся тёсовой крышей над скатом железнодорожной насыпи — два одноэтажных строения для рабочих-путейцев.

Через несколько лет появилась и станция. А так как от поместья она отделялась крестьянскими полями, то помещик выкупил у крестьян полосу земли от усадьбы до платформы и соорудил на ней шоссированную дорогу на “европейский” лад. Жилой центр имения отнесли восточнее от Серпуховской дороги вглубь участка, за пруды. Был высажен парк, сами пруды расчищены, построена купальня и баня. Ближе к лесу, то есть ещё восточнее, посажен и выращен фруктовый сад. Новый помещик парадно оформил въезд в усадьбу: широкие, с затейливыми кренделями кованые ворота вели на тополиную аллею, к господскому дому. У ворот появилась новинка: солнечные часы. Всё рассчитывалось на большие приёмы частых гостей. Специально строились дачи и на летний период сдавались московским дачникам. Поместье приносило немалые доходы: кроме фруктового сада, имелся мелкий и крупный скот, птица, две дюжины голов конного парка.

Честно говоря, Пашку не очень интересовали рогатый скот и лошади, ему нужен был клад. И так как в архивах нет документа, что зарытые ценности нашлись, стало быть, они до сих пор лежат в земле. На что Понник резонно заметил: дескать, нет никакой гарантии, что на том месте, где закопан клад, не растёт сейчас дерево или, что ещё хуже, не построено какое-нибудь сооружение. А это значит, что ценности мог найти любой человек и находку скрыть. Словом, дело гиблое, и на подобные авантюры он время тратить не собирается. “Куда интереснее по крупицам собирать те редкие факты, по которым незаметно, как в проявителе на фотобумаге, вырисовывается история родного края”, — заключил он.

Миша от этих “крупиц” просто кайф ловит. По его мнению, у него уже столько материала собрано, что, когда будет заканчивать историко-архивный, ему этого материала на дипломную работу с лихвой хватит. А быть может, и на диссертацию.

Пашке, конечно, нет нужды до всех этих дипломов и диссертаций, но он убедился на примере того же Понника, что увлечение историей родного края позволило получить Мише несколько пятёрок. По той же истории.

Бесспорно, Понника в школе уважают. И не только историчка, а все учителя и ребята в классе. Кроме Софочки и Оськи Шмуля, которого за уши тянут на золотую медаль. Поэтому Шмуль Мишу ненавидит. Пашка по его близорукам глазам это видит. Ненавидит и завидует. И Пашке тоже завидует. Ибо Пашка в сравнении с ним, как Ален Делон с Чарли Чаплиным. Внешне, разумеется. Мальвина сама об этом говорила, когда у них разрыв ещё не произошёл. Хотя... ну, какой он Ален Делон? И всё же приятно осознавать, что не всё ещё потеряно, имеется ещё шанс с Мальвиной помириться.

А Понник и вправду большая умница. И как человек — без всяких там выпендрёжек. Брата такого бы иметь. Пашка, конечно, Володю очень любит, но он старше на четырнадцать лет. Почти ничего общего. В смысле интересов. И какие могут быть интересы у них? Пашку вовсе не привлекает тюремная романтика. Так, вечером если в беседке посидеть, песни блатные под гитару послушать, истории разные. Только... истории все эти какие-то

однотипные: кто сколько выпил или кто кому морду набил. Словом, как сейчас принято говорить, чернуха одна. Хотя... быть может, и “чернуха”, но куда от неё денешься, если жизнь такая.

Коля-Шкелет, например, рассказывал, как братьев Мордасовых завалить хотел. Чего же здесь интересного? Жуть одна. А Володя после очередной ходки — как в поезде шалаву одну подцепил. Когда Пашка это слушал, ему даже не по себе стало. Некоторые ухмылялись, а ему совсем не весело было, противно. Особенно когда Володя фразу обронил, будто бы все бабы по природе своей — шалавы, что к ним только подход надо найти. Больше всего это покорило Пашку. Что же получается: и Мальвина, и та, которую брат в тамбуре, — обе шалавы? И что значит “все”? Этак можно дорассуждаться до чего угодно... подумать стыдно. В один ряд с пьянчужой позорной ставить всех женщин? Но что больше всего поразило: когда Пашка своё мнение высказал, там же, в беседке, даже Ларочка не поддержала его. Напротив, лишь масла в огонь подлила: “Пашка позу держит, думает, что его Ленка другая (это так Мальвину зовут), что она — Золушка из сказки. А эта Золушка в дёте вся, скипидаром не отмыть”.

Мальвина с Ларочкой когда-то дружили, но потом их стёжки-дорожки разошлись, чуть ли не врагами стали. Ларочка школу бросила и по рукам пошла. Если б Афганец её не подобрал, совсем опустилась бы. Поэтому она бесится и Мальвине завидует. Пашка Ларочке чуть физиономию тогда не набил, Афганец помешал. Он Афганцу словечко нехорошее сказал, а тот ударил его. Слегка ударил. Володя с Афганцем и сцепились. Коля-Шкелет — тот сразу за нож. Вынул и сам не знает: то ли Афганца валить, то ли... хрен его знает кого — все вместе кантуются-то. Колька после этот нож со злости в кусты закинул и говорит: “Первый раз в жизни нож вынул и, как фраер, менжанулся”. Если б пацаны сразу не вмешались — один из двух кого-нибудь убил бы или покалечил: или Афганец Володю, или наоборот. Хорошо ещё, мать успела из дома выскочить и Володю увела. А то новый срок получил бы. Только освободился — и новый срок...

Афганец потом первый приходил к Володе мировую расписать. С литром водки. Хоть и авторитетный он мужик, но ни разу не сидел, а у Володи уже четыре ходки было, и блатные его уважают. Даже “корону” хотели надеть, но он отказался: слишком уж ответственное дело, с кандачка не решается. К тому же брат уже два раза Афганца от тюрьмы отшивал, всю вину на себя брал. Так что первым на мировую не пошёл бы. А если трезво поразмышлять: что им делить? К тому же Афганец и не ударил Пашку вовсе, а лишь слегка по щеке шлёпнул, по-братски, в целях воспитания, так сказать, чтобы ругательных слов по отношению к старшим не употреблял. Может, зря Володя бузу затеял: кому, как не Володе, известно, что за Пашку Афганец живота не пожалеет. И кто, как не он и Коля-Шкелет, за Пашкой приедривает, когда Володя срок мотает.

Надо признать, что примирение получилось очень даже по-людски. Мать картошки с грибами нажарила. Целую сковородку с верхом. Коля-Шкелет был — вроде как третейский судья. Культурно посидели. Колька под хмельком признался, что, когда в суматохе нож-то вытащил, был всё-таки миг... и Афганца б он заделал, но ему Ларочка расписаться помешала: вцепилась в руку и как завизжит, будто он её резать хотел. Вот тут он нож и выбросил. Со зла. Словом, во всём бабы виноваты. Матери — не в счёт. Потому что мать — это от Бога. А что от Бога — то неприкосновенно, свято.

Но ведь и Мальвина, и Ларочка, и даже та шалава, с которой брат был в поезде... тоже, наверное, станут когда-то матерями, думал Пашка. Неубедительны, значит, слова Коли-Шкелета, логики в них нет. Зачем же курицу с яйцом путать?

Вот Миша Понник всегда рассуждает логически и убедительно: даже о чём-то вроде бы неинтересном — всё равно преподнесёт это так, что невольно заслушаешься. Казалось бы, какое дело Пашке, что стало с их посёлком после революции? В сущности — никакого ему до этого дела нет. И всё же слушаешь, как заворожённый, точно лекцию очевидца событий.

...С установлением Советской власти на территории бывшего поместья возникло опытно-показательное хозяйство по разведению продуктивного холмогорского скота. В Чепрыкино к тому времени имелось семнадцать дворов да платформа с казармой поблизости. Помещичий дом вместе с парком, прудами и садом стал домом отдыха исполкома Коминтерна. Но в двадцатых годах по неизвестным причинам дом сгорел, парк с теннисными кортами уничтожили, исчезли солнечные часы. Значительную часть всех окрестных земель всё ещё занимал большой обыкновенный русский лес с частоколом белых берёз и дубняком, с ильмовыми рощами и сухими ерниковыми чащобами, с заливными лугами и пропеллинами полудиких опушек, мелкими болотцами в камышовых зарослях.

За два года до войны исполком вынес решение об организации поселкового совета при Чепрыкино совместно с Макарьинским сельсоветом. К Чепрыкино отошли несколько крупных поселковых населённых пунктов со всей местной промышленностью и коммунальным хозяйством. А в урочище Липки районо отвёл участок в четыре гектара для строительства первой школы-семилетки.

Пашка впервые от Миши Понника узнал, что школа, в которой они по сей день учились, была построена ещё до войны. Заложённая на бутовом прочном фундаменте, с кондовыми глухими стенами из красного кирпича, строгой, в подливу, кладкой на особом известняковом алебастре, школа обещала простоять ещё очень долго.

В послевоенное лихолетье, в хрущёвскую “оттепель”, даже в более поздние годы школа числилась на хорошем счету, занимала в посёлке заметное место. А порой и тон задавала. Кто из сельчан в то время не знал стадион в Липках? Наверное, не было таких. До сих пор старшее поколение помнит футбольные матчи “сельповцев” с сильнейшими клубными командами района и области. И Володя с Колей-Шкелетом помнят. И отец иногда рассказывал. Правда, не так складно, как Миша Понник, зато очень даже образно. Ведь отец очевидцем был, а Миша — с чужих слов. И всё равно интересно было послушать. “Ни в какие высшие лиги те футбольные команды не входили, но всегда оставалось ощущение чего-то грандиозного, масштабного, будто “Спартак” с “Динамо” играют, и в воротах стоит не слесарь-лекальщик Вася Дёмкин, а Лев Яшин”, — примерно так рассказывал отец. Главное же заключалось в том, что играли в Липках. А что стадион числился за школой — в этом никто не сомневался.

Отсюда, из Липок, тянулись к Дому культуры первомайские колонны демонстрантов, проводились всевозможные спартакиады. Здесь, в Липках, проходили праздничные митинги, пионерские слёты, молодёжные сборы. А ярмарки, народные гулянья... — опять же, в Липках. Зелёные шапки вековых лип ещё заманивали в парк под свои кроны, ещё не очень загрязнили пруды, и они были излюбленным местом купания не только у детворы, но и у взрослых. И рыба в них водилась. И лес местами ещё сохранял свой первородный вид. Лишь под натиском расширенного жилого строительства за последние лет сорок лес заметно видоизменился, поредел. Десятки его гектаров были отданы под вырубку. И там, где когда-то ходили по грибы и ягоды, гнали на выпаску скот, косили траву, вырос городок. С кирпичными “хрущёвками” и панельными высотками, с детскими садами и школами, больницей и поликлиникой, маленькими и большими промышленными предприятиями, универсами и магазинчиками... Словом, со всеми “культурно-бытовыми” услугами и всевозможными урбанистическими достижениями на некогда лесном заболоченном массиве вырос город районного подчинения, объединив или, точнее сказать, взяв в свою агломерацию несколько крупных посёлков.

4

Голубятня у Пашки — лучшая в округе: на бетонном фундаменте, высокая, проникнуть в неё не так просто. Надо подставить полтораметровую лестницу, подняться ступеньки на три, открыть секретным ключом замок

верхней части двери, внутренняя сторона которой деревянная, а внешняя обита листом железа. Лишь после этого отодвинуть засов нижней половины. Но и это не всё, так как имеется ещё одна дверь — из металлической решётки. Лестницу по ненадобности всегда можно убрать или зачалить цепью за толстую трубу, закрепив на запор массивным замком. Так приходится делать утром. Или вечером, когда закрываешь голубятню, чтобы внутрь даже мышь не проскочила, не говоря уже о ворах. В этом смысле Пашка учёный.

В голубятне два окна, зарешёченных арматурой. Крыша железная, между потолком и деревянной сплошной обрешёткой — утеплитель. Пол из обожжённого алебастра и посыпан крупным речным песком. На фасаде широкая табличка с надписью: “Питомник №1”. Между летком и помещением — выгул, который огорожен металлической сеткой. На крыше, выше верхней части выгула, специальный шест, имеющий насесты. Внутри и полочки для отдыха голубей, и паровочные ящики с гнёздами, и электрический свет подведён... Одним словом, всё сделано как надо. Пашка даже вольер соорудил. Правда, особо ценных пород у него нет, но несколько племенных пар имеется. Якобинцы, например. Каштановые. Их он отдельно от других птиц держит и лишь в вольер запускает. Ещё подумывает китайских чаек купить. У них на груди банты даже красивее, чем у почтарей, что Гундоусый предлагал. Но чайки для гона не очень годятся, а так... для души. Будут в вольере гулять вместе с якобинцами. А выпускать их нельзя: есть риск, что улетят.

Из окна голубятни можно увидеть часть улицы, угол крыши Пашкиного дома, небольшой отрезок дороги, уводящей в Липки. Если идти по этой дороге, то пересечёшь шоссе, которая разделяет пруд как бы на два, где, по преданию, помещик Чепрыкин зарыл свои ценности. За шоссе начинается парк вековых лип, а там — школа.

Некогда могучие, с богатыми пышными кронами, сподряд по три-четыре ствола, в полтора-два обхвата каждый, липы теперь медленно доживали свой век. Некоторые из них стояли ещё твердо и величественно. Другие с разлапистыми, словно громадными клешнями, высохшими ветвями, с подгнившим дуплистым подом ждали своей участи. Не знавшие топоров и пил, ждали, когда порывистый ветер с силой обрушится на них и с треском, обламывая ветви, выкорчёвывая из земли полумёртвые корни, повалит иссохшие стволы. Как после удара мелко задрожит земля; отзываясь на утробный гул упавшего с грохотом дупляка, вспорхнут испуганно птицы, и в воздухе пронесётся эхо разноголосья... И тишина, звонкая тишина воцарится на миг.

Десять лет назад (Пашка тогда ходил ещё в первый класс) на его глазах две огромные липы, не выдержав натиска стремительно налетевшего ветра, рухнули. Одно дерево, падая, задело электрические провода: несколько улиц, в том числе и школа, остались без света. Это случилось поздней осенью, уже ударили первые заморозки. Школе в том году не успели подключить к центральной котельной. Всем младшим классам отменили уроки.

Когда-то школа имела статус семилетки, отапливалась небольшими грубками, выложенными из кирпича в каждом классе. Лишь после войны к зданию пристроили котельную. Директором в те годы был Василий Ефремович Аносов. “Красный директор” — так называли тогда бывшего фронтовика и старого партийца. Он отработал в школе почти сорок лет, преподавал историю, но с равным успехом вёл и другие предметы. Понник очень хорошо Василия Ефремовича знает, так как живёт с ним в одном доме, даже в одном подъезде и часто к нему заходит.

Пашка видел Аносова несколько раз. Впервые — когда школе отмечали пятьдесят лет. А однажды вместе с Мишей встретили его в булочной. Невысокого роста, сухощавый, в одной руке он держал трость, в другой — выдавшую виды матерчатую сумку. Но даже сутулость его была особенной, выдававшей некогда строгую военную выправку. Передвигался Аносов медленно, а когда опирался на трость, рука его мелко тряслась. И сам он весь как-то мелко трясся. Казалось, вот-вот упадёт.

Они его проводили тогда до самого подъезда. А уже на лестничной площадке Аносов предложил им зайти в квартиру.

Проживал Василий Ефремович в двухкомнатной малогабаритке с женой. Её Пашка не видел; последние годы она болела, не вставала с постели, находилась в другой комнате. По словам Миши, Аносов — живая легенда. И это без всяких там преувеличений. О нём даже книги написаны. Пашка видел одну с портретом Аносова.

Недавно Василий Ефремович вновь посетил школу. Зачем приходил — никто конкретно не знал, так как разговаривал он наедине с Бурцевой. И беседа у них, видимо, была напряжённой.

Приход Аносова совпал с окончанием уроков, поэтому Пашка с Мишей остались поджидать его возле школы, на скамейке, недалеко от клумбы, чтобы проводить. Старик вышел чем-то сильно огорчённый, даже встревоженный. Увидев их, улыбнулся, приободрился. Удивительный, право, старик. “Евгения Онегина” всего наизусть знает. Об этом Понник сказал, а Пашка ему верит. Хотя всего “Онегина” наизусть — это что-то из ряда вон выходящее, фантастика, в голове не укладывается. У Пашки так давно бы “крыша” поехала, если б всего “Онегина” — наизусть. Но Василий Ефремович не только Пушкина наизусть помнит, но и Тютчева, Фета и ещё много всего. Даже рассказы Толстого, впервые прочитанные ещё в церковно-приходской школе в Макарыно.

Впрочем, как теперь в школе учат, не только “Онегина” наизусть не выучишь, но и кто такой Пушкин — забудешь. Когда Пашка узнал от Миши Понника о дореволюционной школьной системе, его поразило — до чего же раньше всё было просто, ясно, доступно, без всяких там, как теперь, “методико-педагогических” выкрутасов. Ну, зачем, к примеру, ему, Пашке, “Обеспечение безопасности жизнедеятельности”? Что, на случай ядерной войны? Чуть. Да при такой жизни без ядерной войны быстрее сдохнешь.

Конечно, про ядерную войну он загнул, но разве можно научить теоретически, как вести себя в экстремальных ситуациях? Да у них в городе что ни день — экстремальная ситуация. По мнению Пашки, дело это пустое, как и сам упомянутый предмет. Лучше бы начальную военную подготовку ввели, как раньше было, когда ещё Володя с Колей-Шкелетом учились. А вся эта наука ОБЖ — туфта: если не кирпич на голову упадёт, так придурок Лиза порежет. Да мало ли что случиться может! Все под Богом ходим.

Миша рассказывал, что до революции преподавали русскую словесность и Закон Божий: “Овладение сокровищами русской литературы было в связке с основами Евангельской веры”. Как лекцию читал. А что теперь? Почему Пашку тошнит от всех этих “сокровищ” и литературы, вместе взятых? В чём дело? Почему книгу с отвращением в руки берёт, будто денатурат пить заставляют? А Софочка Гольдберг — просто умора: “Ложи, — говорит, — дневник на стол”. Так и говорит: “Ложи”. Понник её однажды вежливо поправил, а она ему: “Умный слишком”. И взглянула так, что ясно стало: золотой медали ему теперь не видать.

У них оборудование в кабинетах физики и биологии есть, таблицы, микроскопы, приборы разные, даже модель человека разборная; чучела животных и заформалиненные в банках пресмыкающиеся, так треть всех этих предметов осталась ещё от Макарынской церковно-приходской школы, в которой учился Аносов. То есть когда Макарынскую школу закрывали, Василий Ефремович всё это оборудование к ним в Чепрыкинскую школу перевёз.

Но больше всего Миша возмущается, что критиковать советскую школу стали все кому не лень, вроде как даже стало признаком хорошего тона — критиковать. Пашка, правда, помалкивал, когда Миша об этом рассуждал, ибо и сам не прочь был покритиковать. Но, действительно, чего критиковать-то? Зачем из пустого в порожнее переливать? Где они — реформы эти? Такого беспредела в школе, как теперь, наверное, раньше никогда не было. Ну, какая бы нормальная училка в те “застойные” времена позволила бы себе унижать ученика на глазах всего класса и бить его по лицу?! Даже Пашкина мать может подтвердить, что подобного просто не могло быть. Потому что не могло быть никогда. Это — во-первых. Во-вторых, Пашка собственными ушами слышал, как Бурцева открытым текстом, словно это узаконено, говорила, что без взятки у них в аттестате будет то, чего они заслуживают. Конец света! В-третьих, на кой хрен нам, русским, в пример Америку ставить?

Или Англию? Кому плохо здесь, тот пусть в Америку и едет: там и свобода, и сексу учат. Оська Шмуль тоже сначала критиковал: плохая, дескать, наша школа. А всё равно, год в английском колледже отучился, и назад отец его вернул, в “плохую”. Потому что программа там — для ваньков. То есть система образования у них слабее. Так-то. Шмуль хотел сына в суперэлитную школу отдать, для очень богатых, а после передумал, мол, нет резона шило на мыло менять. Но тут всё понятно: он кое-кого в школе подкармливает. Учителя перед Оськой не то чтобы заискивают, а как бы халявные деньги отрабатывают. Особенно усердствуют Бурцева и Софочка Гольдберг. Не за просто же так директриса котельную ему разрешила под склад арендовать. К тому же с очкариком репетиторы лучшие занимаются. Шмуль-старший всю администрацию в городе купил, у него везде всё схвачено. А что он деньгами школе помогает, столовку отремонтировал, на учебные пособия подкинул — так он таким образом от налогов ушёл. Всех тонкостей Пашка, разумеется, не знает, но кое-что от Афганца слышал. Весь этот попечительский совет с учителями и родителями — фуфлю. Всё решает гороно, а его Шмуль в ежовых рукавицах держит.

Недавно Софочка Гольдберг “наехала” на Мишу Понника: произношение у него якобы плохое. Но все в классе понимают, что у Миши произношение даже лучше, чем у Оськи, а Софочка просто хочет Мише оценку снизить. Короче, весь класс возмутился, бойкот англичанке объявил. Пашка, конечно, первым запротестовал. И нашла коса на камень. У Гольдберг истерика, к директрисе побежала: вопрос ей “ребром” поставила: или она, Софочка, из школы уходит, или Пашка (это ещё до пощёчины было). Что тут началось! Но все ведь видят, что Софочка не права. А она: “Или я, или он!” Пашка то есть. И ведь натурально — заявление об уходе накатала. А потом и вовсе комедия началась! Пашка из учительской в приоткрытую дверь кабинета Бурцевой слышал: директриса номер телефона набрала и улюлюкающим голосом: “Арнольд Арнольдович, это Бурцева вас беспокоит...” То есть обстановку Оськиному отцу доложила и Софочке трубку передает, чтоб сама Гольдберг с ним поговорила. Так у англичанки лицо из багрового серым стало. Пашка мог бы поклясться, что Арнольд самими что ни на есть непечатными словами Софочку припечатывал. Да ещё как! Одно удовольствие было слушать: до Пашкиного уха из телефонной трубки вся матерщина долетала. Бурцева — и та в смущение пришла, а увидев находившегося в учительской Пашку, дверь захлопнула. Будто бы ему больше всех надо — подслушивать. Сами кашу заварили, пусть сами и расхлебывают. Он даже к окну отошёл, подальше от кабинета директора. В учительской возле окна так и стоял, пока Бурцева с Гольдберг проблему утрясала.

Учительская на втором этаже находится, окнами на север, и он мог видеть за деревьями парка, как бы в перспективе, “водокачку”. Так они называют большой земляной холм с вкопанной в центре трубой. Зимой с холма можно на санках или на лыжах кататься. Или на портфелях. В детстве он казался высокой горой, а теперь как будто маленький стал... Понник объяснял, что это не водокачка вовсе, а водонапорное сооружение. Но какая разница, смысл-то ясен, для чего эта водокачка: чтобы население водой снабжать.

Ещё отец вспоминал, что когда-то на первую пробуренную в посёлке артезианскую скважину смотрели, как на диво, точно буровики на нефть, митинг устроили. Давно уже их город обслуживают несколько котельных и водонапорных башен, в каждой квартире, доме — газ и горячая вода. Наверное, не осталось домов, где бы топили дровами или брали бы воду из колодцев. В Макарьино если вот только да где-нибудь за городской чертой. Или в деревне Чепрыкино. Не странно ли: с Чепрыкино и пошёл расти город, общественный транспорт давно пустили — автобусы, “маршрутки”, а деревня так и осталась — полторы дюжины дворов, воду из колодца ведрами носят. Вроде бы не безымянная, но как-то нелепо получается: в черте города, а по сей день официально значится: деревня Чепрыкино.

Когда-то возле деревни построили механические мастерские, а рядом — несколько двухэтажных деревянных зданий барачного типа. В одном из них Пашка и родился. Место, прямо надо сказать, не очень живописное.

Для многих, быть может, даже неприятное место. А для таких, как Оська Шмудль, и вовсе “отверженное, пропащее, и люди там пропащие”. Что ж, каждому своё. Для Пашки же Чепрыкино — настолько родное, что когда поползли слухи, будто бы их скоро начнут переселять в новые дома, ему немного грустно стало. С одной стороны, хорошо, конечно, в новую отдельную квартиру въехать, а с другой... так привык здесь, что иногда сердце защемит, как подумает, что переезжать. Отсюда ведь и отца хоронили. И голубятня рядом. Почти с нуля её ставил. Вместе с отцом. Куда голубятню-то девать? Это же не мебель, которую погрузил и перевёз. И не разборная она. Этак придётся автогенном резать. Ведь не стал на болтах крепить, сваркой стыковал. А плиты — это ж, опять-таки, кран надо пригонять. Думал ведь — навечно. А новостройка в другом конце города.

Но постепенно Пашка к слухам насчёт переселения привык. Лет пять эти слухи ходят. К ним все привыкли. Марьяша так и говорит: “Видно, издыхать здесь придётся”. Пашке же нравится здесь, нравится их длинный коридор с дощатым полом и ступеньками дощатыми. Вот только скрипучие: ночью незаметно не пройдёшь. И потолки со стенами обшарпаны. Раньше всегда ремонт делали, а когда узнали, что переселять будут, так ремонтом больше и не занимаются. Ждут. А чего ждут? Когда крыша потечёт? Она уже подтекает. Пашка так думает: во всём виновата эта демократия грёбаная. Весь народ с панталыку сбילה.

Они с матерью на втором этаже живут, в угловой комнате, так если дождь сильный — у них весь угол стены мокрый. А вообще-то комната большая, удобная, почти двадцать квадратных метров.

Как-то к ним Бурцева заходила (Пашка тогда под следствием был), так она просто умилилась: “Как у вас, Дарья Даниловна, с Пашей уютно, уютно, какая самобытная ретроспекция...” Вот язва! Ну, зачем лицемерить? У них с матерью, действительно, в комнате очень уютно, чисто, порядок, словно в церкви. Дело в другом. В чём? Пашка точно не смог бы сказать, но когда Бурцева так говорила, что-то его настораживало, как будто искренне она это говорила. И угол комнаты под потолком, кажется, в тот раз ещё от дождя не просох. Что ж здесь хорошего? Когда Бурцева “восхищалась” самобытностью, Пашке неловко было за их старомодную, даже убогую мебель, за кровать с железными дужками спинок, за сложенные на кровати пирамидой подушки, которые мать украшает белоснежными ажурными подзорами. Такой кровати с накрахмаленными ажурными подзорами теперь и не увидишь ни у кого. А директрису это растрогало: “Я, — говорит, — Дарья Даниловна, молодые годы вспомнила. Моя мама тоже всегда подзорами кровать накрывала. И у нас ещё оранжевый абажур висел”. Этажерку с белыми слониками вспомнила бы ещё: мать рассказывала, что этажерки тоже очень модные были. А мебель новую из принципа не покупает, потому что почти всю мебель отец своими руками мастерил: и диван с резной спинкой, на котором спит Пашка, и гардероб, и буфет для посуды. Отец плотником работал, золотые руки у него были. Он многим в доме мебель делал. Кто выбросил, а кто и оставил. Добротню всё делал, на совесть, с искусством большим. Некоторые жалеют, что выбросили мебель, сейчас “антиквариатом” была бы. Но когда Бурцева про абажур вспомнила, Пашка и вовсе сник: тошно стало видеть на потолке дешёвую люстру под хрусталь. Даже телевизор ему показался убогим. Словом, когда директриса о своей молодости стала лепить горбатого, Пашке казалось, что все вещи, находящиеся в комнате, как бы нарочно выпячивали их семейный материальный недостаток, нужду. О холодильнике и говорить нечего: ещё до Пашки покупали, старый “ЗИЛ”. Стоит в комнате и дребезжит. А куда его поставишь? Коммуналка. Об иконах с лампадкой Пашка и вспоминать не хочет. Впрочем, кому какое дело? Ведь это же не его, а матери. Пусть молится, если душа требует.

5

Бурцева в тот раз неожиданно пришла. Хотя бы предупредила, что зайдёт. А то нарисовалась — картина Репина “Не ждали”. Зачем приходиться-то? Мать все собрания в школе посещала.

Причина, конечно, была. Пашка с Лизой и Гундосым залезли поздно вечером в школу: через форточку первого этажа проникли в лабораторный кабинет физики, а оттуда — в учительскую. Вернее, Пашка на стрёме стоял, а полезли Гундосый с Лизой. Лиза сказал, что в сейфе у директрисы деньги большие лежат. И деньги эти — “левые”, которые Арнольд Шмульт за аренду котельной отстёгивает, не для учительской зарплаты. Наводку же Лиза получил от верного человека.

Пашка, может, и не решился бы, но Лиза уговорил: деньги, дескать, “грязные”, ибо чёрным налом лишь взятки дают, так что в случае чего — Бурцева большой шухер поднимать не станет, не в её это интересах: гласность. Кроме того, они с Пашкой лишь пользу обществу принесут, и если он пойдёт на дело, свою долю немалую получит и будет распоряжаться ею, как захочет. Брату курева и жратвы, например, послать сможет, голубей купит — якобинцев или китайских чаек, каких душе угодно. На худой конец, в любой детский дом деньги послать, как Юрий Деточкин в фильме “Берегись автомобиля”. Ну, чем не гуманитарная помощь!

Кстати, самому Лизе последняя мысль очень даже понравилась: “Если, — говорит, — застукают, так и скажем: деньги в детский дом хотели отправить. Сейчас все детские дома в бедственном положении”. Робин Гуд, мать его... Пашка согласился, разумеется. А зря. Лиза только замки в дверях и может ломать: сейф, как ни пытался, не смог вскрыть, лишь замок покорёжил. Ну, не смог — и оставил бы сейф в покое. Так нет, с Гундосым вынести захотели. На этом и спалились. Сейф по габаритам небольшой, но очень тяжёлый. Пашка помнит, как его двое здоровенных мужиков в школу заносили. Лиза с Гундосым его там же, в директорском кабинете уронили на пол. Сторож их и застукал. Пашка, правда, убежал. Его никто и не видел. Даже во дворе, когда домой вернулся. Но когда следствие началось, Лиза с Гундосым Пашку сдали. Ну, не козлы! Сами спалились и его за собой потянули. Всё равно ведь групповуха светила.

Сначала его в ментовку забрали, а потом выпустили. На очной ставке Лиза с Гундосым показали, что деньги хотели в детский дом отослать. Пашку в подельники приплели, а он — в несознанку, как брат учил: не было его с ними в тот вечер, и знать он ни о чём не знает. Наговор. И сторож показал, что Пашку не видел: “Этих двоих застукал, а третьего не видел”.

Лиза следствие сначала баламутил, а позже “шары гнать” стал, “лишнее” сказал про Бурцеву и деньги. И завертелось... Директриса поэтому и приходила к ним с матерью домой, хотела выяснить: был ли Пашка с теми двоими, и кто конкретно из троих знал о деньгах. В сейфе действительно лежали деньги. И очень большая сумма. Если Пашка признается во всём, Бурцева ничего никому не расскажет и из школы его не исключат, а наоборот: он будет взят на поруки. Быть может, Бурцева даже на суде выступит в его защиту. Тоже — защитница нашлась: когда Пашка сутки целые в камере парился, а мать в школу бегала, так Бурцева времени не нашла с ней поговорить. И вдруг — на поруки... Так Пашка и “раскололся” ей! Не было его с Лизой, и ни о каких деньгах в сейфе он ничего не знает!

Мать в тот день только-только на обед пришла — она на стройке работает. Даже толком умыться не успела. Когда же пригласила Бурцеву к столу, Пашке и вовсе неловко стало. У директрисы руки холёные, пышные, как пирожки, пальцы в перстнях золотых, а у матери припухшие и неухоженные, у ногтей с белым налетом — то ли от краски, то ли от побелки. По годам, как понял из разговора Пашка, мать с Бурцевой примерно одного возраста, но, видя их, сидящих друг против друга, можно было подумать, что разница у них — лет пятнадцать. Бурцева — в строгом тёмном костюме и туфлях лакированных, а мать — в спецовке замызанной, в съехавшей на плечи косынке. Хорошо хоть ботинки успела снять — они стояли в коридоре у порога, в общей кучи обуви, тоже со следами краски и побелки — кирзовые такие ботинки, на солдатские похожи.

В комнате над кроватью два больших фотопортрета под стеклом в деревянных рамах на стене висят. Портрет отца мать в чёрную креповую ленту оправила: в то время уже полгода было, как отец умер. Бурцева на его пор-

трет поглядела и сказала, что Павел, Пашка то есть, на отца очень похож. Хотя это не совсем так. А после вздохнула и как бы между прочим заметила, что тоже мужа схоронила, но давно, девять лет минуло. Что, в общем-то, свыклась с утратой: “То ли положение обязывало — горе на людях не показывать, то ли других забот хватало, но свыклась”. Что, дескать, обе они матери-одиночки, с общей нелегкой бабьей судьбой, и кто, как не Дарья Даниловна, её понять должна. Вот только не сказала: в чём, собственно, мать должна её понять? И потом: какие же у них судьбы общие? Да между Бурцевой и матерью такая пропасть, как между небом и землёй. Но как подъехала: “Что-то нехорошо, Дарья Даниловна, на душе: тяжёлым грузом что-то лежит на сердце и давит”. Психолог. Струну больную нащупывала, чтобы мать разжалобить и Пашку с толку сбить. Даже извинилась, что в “неурочный час” зашла: “Вот так вот — без приглашения, по-простому”. А что в прошлый раз должного внимания не уделила, так пусть Дарья Даниловна её простит: “Заботы всё, заботы... выбирать не приходится, каждый час расписан по минутам”. Так мозги запудрила, что мать и впрямь расчувствовалась: “Вы уж похлопочите, Людмила Юрьевна, за Пашу-то... Бог даст — не засудят”. Ну, зачем же так унижаться!? Тем более что из милиции его выпустили. Стыдно унижаться-то. Да ещё надсадным таким голосом, точно совсем уж беспомощные они.

А Бурцева всё же нащупала больную струну и давай на этом играть: дескать, разве мало она делает для таких трудных подростков, как Павел?! И что, собственно, тот приход Дарьи Даниловны к ней, Бурцевой, мог бы изменить? Чем бы в тот момент помогла Бурцева её сыну? Следствие ещё не закончено было. Теперь же она знает: “дело” передано в прокуратуру. “Ты ведь, Павел, как свидетель по делу идёшь?” — точно змея подползла с вопросом. Что ему оставалось? Только головой кивать. Он и кивал непонятно зачем, принимая игру директрисы, отлично зная, что никаким свидетелем по делу Лизы и Гундосого не идёт.

Но Бурцева и тут тень на плетень наводит стала: мол, чёрное пятно на всей школе теперь лежит, на днях — суд, и как прокурор “повернёт” процесс, никто не знает. А прокурор — её знакомый, так что: “Ты уж, Павел, будь умницей, только правду говори: был ты в тот вечер в школе, когда сейф хотели вскрыть, или не был?” Во даёт, а! И ещё глазами сверлит, будто дремлю, наблюдает за ним, как он на это отреагирует. Ей бы не директором школы работать, а опером. Повернула всё так, будто Пашку завтра судить собираются. Мать тоже растерялась, не поймёт, к чему директриса клонит. До сих пор так ничего и не поняла: то ли Бурцева сама что-то хотела разузнать, то ли просила его быть таким “честным” во время суда, на который он и не пойдёт вовсе. И верно: какой суд, когда он в этом деле с боку припёку. Не на того нарвалась: он знай своё дело — кивал только, ни одного слова не обронил. А мать наивная: “Ты уж, Пашенька, говори, как есть, говори, не скрывай. Бог даст — никого не засудят”. Не понимала, что Бурцева их просто-напросто провоцирует: порожняк гонит, а их за дураков держит.

Обидно, что матери врать приходилось. Он ведь и её обманул. Как в лучших детективах. Прибежал домой в тот вечер, когда Лиза с Гундосым попались, а матери нет — к знакомой отлучилась, богомолке какой-то. Он стрелки будильника на час назад и перевёл. Мать даже не заметила. Удивилась только, что время медленно идёт, вроде как давно отлучалась. А Пашка, когда спать уже укладывались, снова стрелки подвёл. И после всем с таким усердием врал, что сам почти поверил: не был он нигде в тот вечер и ни о каком сейфе с деньгами не знает. А что делать? Как матери признаться? Она же в Бога верит. Вдруг рассказала бы Бурцевой? А та, по дружбе, прокурору. А потом волосы на себе рвала бы. Потому что Лизу суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима для несовершеннолетних — у него ещё первая судимость не снята была, а Гундосому год впалял. И Пашке столько бы впалял. И никакая администрация школы не помогла бы. Да Бурцева и “хлопотать” не стала бы.

Он ещё тогда легко отделался. В сейфе, когда его при свидетелях с милицией вскрыли, помимо рублей, доллары оказались. В гороно или где-то

там “наверху” узнали, Бурцеву чуть с работы не сняли: завистливые языки поговаривали, что с начальством не поделилась. Но у неё действительно “наверху” связи имеются. И не только в прокуратуре. А валюту на себя Арнольд взял: якобы его это доллары и его “грех”: будто бы это он попросил Бурцеву положить их в сейф. Что же касается котельной, то у него документы есть на её аренду, всё по закону.

Пашка обо всём этом уже после узнал, от Афганца. И зачем Бурцева к ним домой приходила: хотела выяснить источники информации, её скомпрометировавшие. Ведь Лиза с Гундосым в их школе не учились, выходит, кто-то из своих навёл. Так что Пашка правильно поступил, всё отрицая. Даже Афганцу не расколосся. А ведь Афганец Арнольду словечко шепнул, чтоб Пашку не трогали и из школы не отчисляли. Потому что брата его — Володю — уважает и слово ему давал: за Пашкой присматривать. Юлит что-то Афганец.

За мать, конечно, обидно: “Вы уж похлопочите, Людмила Юрьевна, а то я слышала: из школы его, дурака, выгоняют. Я уж в долгу не останусь”. Это Пашку мучило больше всего. И то, что Бурцева почти искренне с изумлением подосадовала: “Как вам, Дарья Даниловна, не стыдно... Какие могут быть счёты... Это мой долг — помочь вашему сыну и моему ученику”. Актриса прямо-таки!

Странно, но после таких слов у матери испуг в глазах появился, недоверие: “Вы уж извините бабу глупую, может, что-то не то сдуру сказала...” И вдруг заплакала, мать-то. Да с надрывным всхлипыванием: “Как перед Спасителем, Людмила Юрьевна, — перекрестилась она, — дома он в это время был. Я прихожу, а он уроки делает. Да разве я могу... перед Богом-то!”

У Пашки в те минуты всё внутри клокотало. Он ненавидел себя, ненавидел Бурцеву. Стыдился за мать: зачем она так!.. Что толку перед директрисой слёзы лить, она подобных душещипательных сцен много видела, по привыкла.

Бурцева, вероятно, уловила Пашкин взгляд — недобрый, колочий, — и голос её более человеческим стал, не заигрывающим: “Вы уж, Дарья Даниловна, не подумайте, что у меня сердца нет, что душой очерствела. Просто устала с годами чужую боль в сердце носить, вот и приходится... будь она проклята, жизнь такая! Одно ведь оно — сердце, на всех горемык его кладовых не хватит. Может, и воспринимаю всё более сознанием, нежели сердцем”.

Никто такого признания не ожидал. Неприятно было слышать. Даже Пашка на минуту поверил в её искренность. А мать всхлипывать перестала, и впервые он услышал откровение: “Он же у меня один такой, Паша-то. Первый, Володя, мужнин был, от первого мужнина брака, неродной... — И вдруг снова испугалась: — Прости меня, Господи, что говорю такое — “был”, словно и нет моего Володеньки. Больше родного ведь любила. И сейчас люблю. А как не любить-то? Всё же ему отдавала, всё старшенькому. Кажется, ради него с отцом и жили. А он... будто сглазил кто его — из тюрьмы не выходит: освободится, передохнёт на воле-то, будто на побывку придет, и снова за старое, и снова посадят. Вот и думаю... Неужели и Пашенька по его стопам пойдёт? Ведь отправят дурака в колонию, обозлится, хуже станет. Разве исправляет она кого — колония? И ведь никто не знает, какими трудами мне мой Пашенька достался. Никому никогда не говорила, а вам, Людмила Юрьевна, признаюсь, думаю, большого греха тут нет, признаюсь: перед тем, как моему сыночку на свет родиться, я ведь не один год в церковь ходила, Роману Чудотворцу молилась да свечи ставила. И услышал меня Господь. Врачи не помогли, а Он помог, родила...”

Мать замолчала, точно в себя ушла. И Бурцевой не по себе стало, Пашка это заметил.

“Родила, а что-то не заладилось, — как бы очнулась мать, — может, молилась плохо? Может, не так что делала? Ведь не учил никто никогда Богу-то молиться. И в церковь вот редко хожу, всё некогда, чаще наедине с Ним общаюсь. Это сейчас церкви восстанавливают, службы по телевизору показывают, а раньше... Думал ли кто о Боге-то? Эх, люди, люди, по запо-

ведям ли Божьим живём? Забыли, забыли, чему Господь учит, вот и каемся”. После некоторой паузы, словно сама к себе прислушивалась, произнесла: “Вы на меня, бабу-то необразованную, внимания шибко не обращайтесь, Людмила Юрьевна, поступайте, как сердце ваше подсказывает. А сынок мой дома в тот вечер был, как перед Христом Богом говорю”.

Стыдно было Пашке, ой, как стыдно! И поймал он себя на мысли, что далёк, ой, как далёк он от того, чему Господь учит. Да только ли он? Все далеки. А взрослые в особенности. Взрослым меньше всего веры-то. Сейчас только и слышно: “Покайтесь да покайтесь!” А в чём, собственно, он, Пашка, должен каяться? За чьи грехи? И какой грех на нём? Что родился? Какое покаяние от него требуется? Вот Бурцева — аж ладонь к груди приложила, крест нательный как будто носит, а сама, поди, стыдитесь этого. Тоже, небось, никогда не учили её Богу молиться. Мать сказывала: отучали даже. Видно, так отучили, что “Богу крестятся, а на беса посматривают”. Но зачем крест носить, коль веры нет?

Мать переживает: “Может, молилась плохо...” Да Бурцева, Пашка уверен, никогда в жизни Богу не молилась; не только не знает ни одной молитвы, но даже толком не знает ни одной Его заповеди. И вообще — крещёная ли? Сейчас многие кресты понадевали и в церковь ходить стали, а спроси их: крещёные ли? по вере ли живут? Не каждый ответит вразумительно. Есть, есть такие. Фальшивое что-то во всём этом, искусственное. Особенно когда по телевизору церковные службы показывают.

По правде говоря, Пашка тоже ни разу не молился, хотя мать пробовала его к вере приобщить. И сам он пробовал, но уж очень тяжело воспринимаются молитвы эти. Обращается он к Богу, но как к чему-то неодушевлённому, несуществующему. Какой смысл? Зачем? Мать говорит, не пришёл он ещё к вере, не ощутил внутреннюю потребность. Хотя тоже задавался вопросом: зачем человек рождается и умирает? Зачем живёт? Чего ему не хватает для полного счастья? Быть может, существует оно — Царство Божье? И не хватает только веры, соблюдения заповедей, без чего, как говорит мать, человек с рождением своим и до конца дней прозябает в раздвоенности, духовной немощности, слепоте?

А мать верит. Больше того — любит. Пашка чувствует, что мать любит Иисуса Христа. И Романа Чудотворца. И Богородицу. Когда она молится, у неё даже лицо преображается, светлеет. Странно очень. То есть, с одной стороны, здесь странного ничего нет, в том смысле, что вроде бы и так всё понятно, но с другой — не совсем понятно. Можно, к примеру, любить Володю или его — Пашку. Да кого угодно, кто существует. Или существовал. Хоть дворнягу Душмана. Но как можно любить то, что лишь на картинке, чего, возможно, никогда и на свете не было?..

Володя, брат, рассказывал, что с ним тоже случай был, в школе он тогда учился, они в классе изучали феодальный строй Франции. В учебнике по истории иллюстрация с изображением Жанны д’Арк была. Так в неё, в Жанну эту, Володя влюбился. “Так втюрился, — рассказывал он, — что перед сном учебник истории под подушку клал, а по Средневековью Франции лишь пятёрки имел”. Но любовь к Жанне д’Арк у Володи длилась недолго. Мать же молится своему Богу столько времени, как Пашка помнит самого себя. А после смерти отца и вовсе чуть ли не монашенкой стала. Марьяша иногда её за это упрекает: дескать, не так стара, чтоб молитвами себя утешать, в миру живёт, с грешниками — что не приведи, Господи... а всё молится.

Пашка несколько раз ловил себя на мысли... вернее, не совсем так. Мысль как бы исподволь ловила его: мать знает что-то такое, о чём ни он, ни Марьяша, ни Бурцева, ни кто-то другой не догадываются, чего никакой наукой или мудростью жизненной не объяснишь и не поймёшь. Будь ты хоть семи пядей во лбу. Ибо это *что-то* можно осознать и понять не шарбаном, не серым веществом, запрятанным в черепной коробке, а тем, что находится чуть ниже и левее, под рёбрами. “Поступайте, как сердце подсказывает”, — говорит мать. Быть может, права она? Может, это и есть наивысшая мудрость?

Закрывшись внутри голубятни, приятно слушать воркованье, время от времени щёлкать кнопкой китайского фонарика и не думать о школе. Или думать обо всём и ни о чём. И пусть снаружи доносятся чьи-то голоса, где-то по шоссе мчатся и сигналият машины, — ты словно бы изолирован от всего мира. Тебе никто не нужен, и ты никому не нужен. Кроме матери. Полчаса назад она приходила к голубятне, угрозами и уговорами упрасивала его идти домой, обещая написать обо всех его выходках брату. Значит, кто-то уже сообщил ей о случившемся в школе на уроке английского. Но брату она писать не станет. Пашка в этом уверен. Помнится, когда умер отец, мать лишь спустя полгода решилась написать Володе. А потом очень долго ей не давали с ним свиданку: что-то он там натворил, говорят, хотел в бега податься. А ещё Пашка знал, что с Володиёй они от разных матерей. Из-за этого он сначала сильно переживал, но со временем успокоился: не всё ли равно — отец-то один, общий. Даже на фотографии, правда, не очень качественной, старой, хранящейся в их семейном альбоме, на той самой фотографии, где Володя держит двухлетнего Пашку на руках, они очень даже похожи. И вообще... никто и никогда во дворе намеком не обмолвился, что они с братом от разных матерей. Потому что знают: Пашка такие намёки никому не простит. И Володя бы не простил.

Когда Пашке было лет семь, к ним во двор завалила кодла ребят из чужого посёлка. Привёл их малолетка, из так называемых положительных первоклашек. У паренька украли велосипед, и он почему-то указал на Пашку. Мать в тот день развешивала в палисаднике стираное бельё. Началась ругань. Кто-то из коды, может, случайно, а может, и нарочно зацепил ногой деревянную подпору бельевой верёвки: почти всё, что было вывешено сушиться, оказалось на земле. Но это было полбеда. Пашка вдруг увидел, как один из парней сгоряча оттолкнул мать, и она, ухватившись за верёвку, дабы удержать равновесие, повалилась на кучу уже испачканного белья. “Падлы, ах, вы, падлы какие!” — донёсся разъярённый голос Марьяши, способной своим неистовым криком отпугнуть любую шпану. Когда выбежал отец, было поздно: Володя уже успел несколько раз шмальнуть из своей мелкокалиберной железки. Одному парню он прострелил ладонь, другому попал в ягодицу. Остальные разбежались. Так брат получил второй срок.

Письма, которые шли от него из колонии, Пашка читал все без исключения. В них всегда было почти одно и то же: просьба прислать чай, курева, консервов. Первоначально это были письма-исповеди, с лёгким налетом тюремной романтики. Даже в чём-то лирические. Читать их было приятно и грустно. Иногда в них встречались стихи. А многие свои первые письма Володя так и заканчивал: “Жду ответа, как соловей лета”.

Пашка тогда ещё не подозревал, что весь этот налёт лиричности, псевдоромантики — не что иное, как привыкание, сращивание с той средой, где возвышенный душевный порыв становится лишь обычным символом — и не более; что расхожая зарифмованная строчка “жду ответа, как соловей лета” — тоже обычный символ. Или штамп. Как угодно. То есть в том смысле, что подобными штампами пользуется чуть ли не каждый отбывающий срок новичок. Быть может, письма позднего периода стали отличаться некоторой сухостью, в них стало меньше “лирики” и больше конкретных серьёзных просьб. Например, обмолвками и намёками, понятными только Пашке, Володя просил денег. А то и “травки”. И со жрачкой — консервами и салом — посылались курево и новенькие “лопаря” — тапочки или шлепанцы, в которые Пашка аккуратно заначивал какую-нибудь купюру, достоинством в зависимости от обстоятельств. Лишь в одном брат был последователен и категоричен: в каждом письме он непременно велел младшему слушаться и беречь мать.

Но странно: если Володя освобождался, создавалось впечатление, что письма писал совсем другой человек. Коля-Шкелет — и тот был более понятен Пашке, нежели Володя.

— Никому никогда не верь, — однажды в минуту откровения сказал брат.

— А тебе можно? — спросил Пашка.

— И мне не верь, — с некоторой суровостью категорично ответил он.

— Кому же тогда верить? — растерялся Пашка.

— Матери верь.

И, видя озадаченную физиономию младшего, добавил:

— За тебя, Паш, я любого замочу. В этом мне верь.

В это Пашка верил. Но всё-таки не мог избавиться от ощущения, а точнее — от наличия в его словах некоей двойственности, что ли. В письмах было одно, а на поверку выходило иное.

— Володь, почему тебя Татарином зовут? — как-то поинтересовался Пашка. Это было, когда брат освободился после второго срока.

— Что, не нравится? — вопросом на вопрос сердито ответил он. Пашка тогда совсем растерялся.

Случалось, что от Володи приезжал “браток с малявой”, и мать, чрезмерная набожность которой вызывала у Пашки порой раздражение, даже она, забывшись, употребляла в разговоре ранее незнакомые и столь необычные для неё слова: “Маляву-то Володе напиши”, — просила она Пашку. И вдруг, спохватившись, начинала креститься: “Прости меня, Господи, за язык непутёвый”.

...Уютно в голубятне, родное место, но долго прятаться от матери и думать о всякой ерунде — надоедает. Правда, можно включить электрический свет, открыть одному Пашке известный тайник и достать оттуда то, о чём никто не знает, даже брат. Она, эта большая Пашкина тайна, умещается в одной его ладони, размером и формой действительно напоминает лимон. Когда держишь её в руке, чувствуешь её вес, холодный металлический панцирь словно намагничивает твои пальцы, ты испытываешь необъяснимое волнение; ощущение слитности с этой разрушительной страшной тайной наполняет тебя. Ты держишь гранату осторожно, сильно сжав пальцами, будто бы уже готов выдернуть чеку и бросить в цель. Но ты всего лишь навсегда держишь её в руке и замороженно рассматриваешь свою “лимонку”. Ты изучил на ней каждую царапину, даже знаешь её конструкцию, её начинку. Ты эту гранату мог бы, наверное, узнать из ста, из ста тысяч других. Именно по той, известной только тебе метке. Но об этом никому нельзя говорить. Даже брату. Даже самому близкому другу. Потому что никому нельзя верить. И ещё потому, что эту гранату год назад ты украл у Афганца, а с ним шутки плохи. Поэтому ты аккуратно, очень даже аккуратно вкладываешь её в брезентовую рукавицу, которую нашёл на стройке, и так же аккуратно кладёшь “лимонку” в железный ящичек, что находится в подполочье, закрываешь его на замок, а ключ прячешь в щель между досок.

Поздно вечером ты выходишь из своего укрытия. К этому времени к беседке, что у сараев, подвоят местные пацаны. Может быть, ошастливят своим приходом Афганец с Ларочкой. Витька-Клоп непременно прибежит: мальчишке нет ещё и восьми, а курит, как мужик. Его Клопом прозвали, потому что мелкий очень. И вечно он с Душманом — это уличный кобель с проплешинами на боках и отрубленным хвостом, которого подкармливает чуть ли не весь двор. Живёт пёс в Витькином подъезде, на половичке под лестницей. Жильцы дома с соседством дворняги давно смирились. К тому же, если кто чужой в подъезд входит, Душман непременно его облает. Хоть он и уличный, а умный, и больших неудобств никому не доставляет.

Афганец убить Душмана грозился, а Витька не дал, спрятал собаку на время. Но Афганец всё равно убьёт пса. Если уж обещал, то за ним дело не станет, убьёт. Так как не по пьяной лавочке грозился, а натурально. Он и с Ларочкой так же: обещал убить, если не ляжет с ним. Спокойно, без эмоций разных пообещал и угрозы. Он вообще без нервов — Афганец. Лишнего слова не скажет. А если скажет, то слово держит. А Ларочка поверила. И как не поверить, если контуженый он. У него медицинская справка есть.

Но Ларочка даже благодарна Афганцу, так как у самой за душой ни “копья”, а у того всегда всегда копейка имеется. По ресторанам её возит на своей иномарке. У него почему-то в ресторанах много друзей. К тому же не замуж он её зовет, а так, поразвлечься. Одно лишь условие: чтобы ни с кем, кроме не-

го, в постель не ложилась. Ну, это она как-нибудь потерпит. А замуж за “халдея” Виталика пойдёт. Он в ресторане официантом работает. Очень даже симпатичный и всегда при деньгах. Женат, правда. Но это дело техники. То есть, её это дело, Ларочки. Всё равно Афганца посадят или убьют — такие долго не гуляют. Последнее даже вернее. Потому что друзья у него очень крутые, а крутых рано или поздно убивают. Убили же недавно Сережу Белого. Выезжал на своём джипе из гаража, так его из автомата всего изрешетили, даже хоронили в закрытом гробу. И Афганца такая же участь ждёт.

Такая вот логика у Ларочки. Потому что мозгов у неё с гулькин нос. И ещё потому, что деваться ей некуда. И неоткуда просить защиты. “Халдей” Виталик сам у Афганца в холуях ходит, а с ментами связываться не резон. И чем они могут помочь? Вся местная милиция с бандитами повязана. Кто Ларочка для ментов? Подстилка обычная.

Иной раз, может, и хочется заплакать, маму позвать, да боится. Всего боится: даже когда Афганец спит — боится его ровного сапа, его впалых, как у покойника, глаз. Боится его правого кулака. И никого нельзя позвать, даже маму, так как сама на это пошла, сознательно. Чтоб подруги завидовали, чтоб не хуже, чем у других, а лучше, чтоб на иномарке да с шпиком. Ибо сама ничего делать не умеет. Вот и терпит, молчит. Потому что ей ещё нет семнадцати, и она никогда не имела дел с контужеными.

Их несколько таких — ларочек, таких дурочек расфуфыренных, которые изредка, но заглядывают во двор: подкатят к беседке на машинах со своими бычками бритоголовыми, пощечбучт минут десять, перекурят и — “Чао!”. Будто в Канны на фестиваль собрались. Но Ларочка из всех самая привлекательная. Пашка помнил её ещё по детскому саду. Помнил и в белом школьном передничке с ранцем за спиной. Уже тогда в её розовых мочках ушей были проколоты промцы. А через некоторое время — и золотые маленькие серьги. А ещё позже — Пашка учился тогда в седьмом классе — Ларочка, так сказать, “вошла в связь”. Подпоил её Коля-Шкелет сладким портвейном, и не стало прежней девочки. Но это давно было, года три назад.

Вообще-то двор у них весёлый. Каждый — чуть ли не личность, характер. А талант — это уж точно. Слава Романов, например. Из всех ребят к нему одному, наверное, кличка не прилипла. Его так все и зовут — Славик. Он очень хорошо на гитаре играет. И поёт неплохо. Хотели ему прозвище дать — Гитарист, но как-то не прижилось: в кого пальцем ни ткни, всяк на гитаре брэнчать может. Даже Витька-Клоп. Но Слава Романов — почти профессионал. И репертуар у него, как у Вертинского, — ничего похабного. Пашка не очень хорошо представляет, кто такой Вертинский, но, наверное, мужик из своих. Правда, Ларочка говорит, что пел он так себе... Но тут Пашка не очень готов ей доверять, потому что ей вообще отечественная эстрада — до фонаря. Хотя она врёт. Так как тайно влюблена в халдея Виталика, а ему из наших певцов нравится один гомик размалёванный, с серьгой в ухе. Но, как говорится, о вкусах не спорят. Всё равно, когда Славик Романов начинает петь под гитару, все слушают его, затаив дыхание. А он может петь хоть всю ночь. Пока не охрипнет. И всё равно: даже охрипшего Славку слушать приятно.

Нередко его “концерты” заканчиваются далеко за полночь, хотя, думается Пашке, многие согласились бы слушать до утра. Но тут обстоятельства не позволяют. Двор — не сочинская эстрада, и людям тоже спать надо. И дело вовсе не в Марьяше, не в её пьяных выходках, а так, просто по-человечески — многим на работу идти, а тут песни до утра... надо и совесть иметь. Все это понимают. И Коля-Шкелет понимает: “Слав, сыграй на посолок, мою, а...” — просит он. И не только Славик, а все знают, какую песню просит Колька. И Славка чуть-чуть откашливается, проверяя себя, настраивая свой голос под песню, под аккорд. И начинает петь. Ему даже не надо придавать своему голосу нужную хрипотцу, грубо подражая автору, потому что за несколько часов надрывного пения голос и без того охрип:

“В тот вечер я не шил, не ел, я на неё всюю глядел...” — поёт Славик. И у него действительно очень неплохо получается. И все внимательно, жадно слушают. Особенно Коля-Шкелет. А когда идут слова: “Со мною нож, ре-

шил я: что ж, меня так просто не возьмёшь, держитесь, гады...” — у Кольки загораются глаза и вздуваются ноздри. Возможно, пара чёрных шпанцерных, пара его лучших голубей, подвешенных на суровой дратве к перекладине беседки, в этот миг вспоминается ему. И боль, и звериная злоба: “Порешу падлу!” И надо держать “слово”. В противном случае ты — ничто: червяк, тля, которую можно раздавить мизинцем. Поэтому идёшь один против ублюдков Мордасовых, держащих в подчинении всю местную шпану. И как в песне: “Держитесь, гады!” — слепо, первым, на рожон; коротким, резким ударом... и острая сталь по рукоять входит между рёбер одному из братьев. Но ты не чувствуешь чужой липкой крови, когда хочешь вынуть нож и нанести второй удар, потому что уже сам лежишь в собственной, корчась от боли. И только ещё можешь выговорить пересохшими вдруг сразу губами: “Порешу падлу...”

Да, в этот миг Коля-Шкелет страшен. Страшен и прекрасен. И Пашке почему-то становится его жалко. Так жалко — до слёз. Колю-Шкелета жалко, и брательника и... всех-всех, даже Мордасовых, всех их... таких разных, с несложившейся, неудавшейся судьбой, у которых жизнь пошла наперекосья, на слом. Это — минута наивысшего накала, наивысшего напряжения. Редкая вдохновенная минута. Славка Романов тоже это чувствует. Чувствует, что все взоры в эту минуту устремлены на него, а он — как кратер вулкана, извергающий раскалённую лаву скрытых и непонятных до конца, чуть ли не первобытных энергетических запасов своей молодой неопытной души. Вероятно, подобное чувство охватывает всех. И пьяная Марьяша, выкрикивавшая четверть часа назад из окна своей убогой комнатёнки всякую похабщину, тоже это чувствует, потому как затаилась и слушает. Знает, что после этой песни все разойдутся, двор опустеет; что ругаться будет уже не на кого. Наступит тишина. Та ночная крошечная тишина, от которой ей — пропитой и никому не нужной состарившейся женщине — впору удавиться.

7

Майская ночь по-летнему тёплая, нежная. Небо — всю жизнь так и смотрел бы на это небо: чистое, таинственное, с фантастически-манящими звёздами. И вовсе не хочется идти домой. Хочется думать о хорошем. Например, о том, что будет с тобой через год-полтора. А ещё лучше — через три. Потому что через три года ты уже должен будешь отслужить в армии. И непременно в десантных войсках. Это как бы само собой — в десант. Чтоб в какую-нибудь “горячую точку”. И тебе плевать на “дедовщину” и на все те мерзости, что показывают по телевизору. Ты всё это выдержишь. Ибо тюрьма не лучше. Но армия ещё не скоро. И ты мучаешься тем, что очень медленно тянется время. Так медленно, что хочется одним прыжком взять этот временной барьер. Как на уроке физкультуры, когда прыгаешь в длину: разбежаться, резко и пружинисто оттолкнуться... и тебе уже двадцать и пора на дембель. И та девочка, которую ты когда-то обидел, быть может, забудет и простит старые твои грехи. Потому что ты будешь уже совсем не тот, другой. Ну, абсолютно другой: в десантном камуфляже и голубом берете, с боевыми значками или даже медалями. И Оська Шмуль, этот очкарик, профессорского вида уродец, будет тебе завидовать. Ещё как будет! Потому что Мальвина вернётся к тебе. А пока... ну что ж, Пашка себя ещё проявит. Так проявит, что о нём вся школа говорить станет, весь город. Вся страна его узнает. Он такой поступок совершит!.. такое сделает!.. такое, что... И на хрена ему эта школа! Не глупее же он, в самом деле, этого Оськи: тоже — финансист... Знаем мы этих финансистов — всю страну разграбили. Так что Мальвину он Оське не уступит. Если уж на то пошло — Пашка и сам финансистом сможет стать. В математике он сечёт не хуже очкарика. И по другим предметам соображает, не из последних в классе. А что с английским плохо, так переводчики на то существуют. Главное, чтобы деньги были. А они будут. Обязательно будут. Чтобы таких, как Шмуль, на место ставить. А то, понимаете ли, у Пашки “ни фундамента нет, ни корней”. Надо же такое сказать! Сморчок пархатый! Даже если б и текла в Пашке татарская

кровь — что из того? Почти триста лет Русь под татарвой жила. Кто из русских сейчас уверен, что в нём нет примеси их крови?! А взять, к примеру, Екатерину Великую — императрицу Российскую: тоже ведь — немецкой крови. И всё равно — русская. По духу на все это — русская баба.

Пашке вообще-то без разницы — татарин ты, русский или еврей. Да хоть чукча! Чукчи, кстати, очень даже симпатичные люди. Почти как японцы или китайцы. И анекдоты про них смешные. Если б все были, как чукчи, — давно бы коммунизм на земле был. А Шмуль зря затронул национальный вопрос. Уж чья бы корова мычала... Подумаешь, у отца первая жена была из татар. Что здесь такого? Да это лишь о дружбе народов говорит. К тому же Володя крёщёный. Мать часто напоминает, что все в их семье православные. Так что пусть очкарик помалкивает насчёт корней: кого-кого, а его это касается в первую очередь. Ведь это у Оськиного отца какой-то родственник главным евреем в банке работает. Хочет его от армии отмазать и снова в Англию отправить. Пашка об этом из авторитетных источников знает. Плохого в этом ничего нет, хорошо даже — пусть уматывает за границу, лишь бы Мальвине на мозги не капал. А то ведь проходу ей не даёт. Ладно бы только на уроках, но и после школы к ней липнет. Понятно, ведь Пашка сейчас как бы в “нождауне”. В том смысле, что Мальвина принципиально его, Пашку, в упор не видит. Почти два года. Вот Оська и пользуется, играет на этом. Вроде как сочувствует даже.

Но Пашка не дурак, понимает. Всё понимает. И для чего Шмуль в бассейн стал ездить, и почему причёску поменял. Даже собирается операцию на роговицах глаз сделать. Дело нужное, да вот только без очков ему никак нельзя: как снимет очки, так смех один: шнобель у него, точно сопля у индюка. Очки хоть немного дефект скрывают, а без очков... Словом, весь национальный вопрос как на ладони. Странно: неужели Мальвина ничего не замечает? Ведь Оська по всем параметрам урод. То есть не совсем, чтоб очень, но если их с Пашкой рядом поставить да одеть в форму десантников, Шмуль ему в подмётки не годится.

Афганец рассказывал, что у Арнольда связи и деньги большие; что в их клановом семействе чуть ли не по всем континентам мира банки имеются. Но самое неприятное для Пашки было, когда Афганец намекал, будто бы Мальвина по расчёту с очкариком... И что Арнольд вовсе не собирается уезжать из России. Лет пять назад прошёл слух: Шмуль на чемоданах сидит, визу ждёт и не сегодня-завтра отвалит. И вдруг на тебе! — остался. Пашку это событие тогда не очень огорчило, вольному — воля, как говорится. Но разве он мог предвидеть, что Оська (совершенный сморчок!), который всегда на уроке физкультуры шеренгу замыкал, станет его соперником? Если задуматься — свинство полнейшее. Ну, допустим, Мальвина с ним вынуждена общаться, потому что за одной партой сидит. И как бы там Пашка ни принижал его достоинства, а голова у очкарика мозгами так набита, как у Марьяши пустые бутылки под кроватью. Не голова, а мозги сплошные. Но вот странно, до смешного странно: когда Оська, напрягая все свои мыслительные извилины, устремляя в пространство лупоглазое под линзами очков лицо, слегка морщит лоб и о чём-то усердно думает, Пашкин взор невольно фокусируется на его длинном индюшечьем шнобеле, словно все Оськины мозги сосредоточены и пульсируют не в голове, а в носу, будто не голова у него думает, а нос.

Но медалистом Оську, вероятно, сделают — папа постарается. Жалко, что именно его, а не Мишу Понника. Но тут ничем помочь нельзя: Арнольд пообещал Бурцевой компьютеры. В школе только и говорят об этом. В учительской уже один компьютер стоит. Если очкарика вытянут на золотую медаль, то школа ещё двадцать компьютеров получит. Тогда будет сформирован настоящий компьютерный класс.

Спонсорство — дело, конечно, благородное, но почему-то от него дурной запах исходит. И Афганец про Арнольда говорил, что сука он порядочный, но трогать его нельзя: у него большая сеть магазинов и автостоянок, и он под крышей братвы. А родственник его — банкир — с мафией связан. Хотя в последнее время кое-кто на Арнольда “зуб” имеет. Не нравится кое-

кому, что он под себя гребёт, как танк, напролом прёт, не посоветовавшись. Участок земли, где сараи старые стоят и Пашкина голубятня, тоже скупил и автостоянку платную на том месте строит. Там уже площадку бульдозером подготовили, и щебёнку завезли. Голубятню, правда, не тронули, но некоторые сараи снесли. Афганец говорит, что придётся голубятню в другое место переносить, так как голуби на автомобилях гадить будут, а птичий помёт краску автомобильную портит. Даже торговался с Пашкой, доллары предлагал. От имени Арнольда, конечно. Сказал, что Арнольд ему все затраты компенсирует. Но вот тут уж дудки! На фиг ему компенсация! Голубятня официально зарегистрирована, и никто не имеет права на его личную собственность покушаться.

Сейчас Арнольд переговоры с администрацией города ведёт, торгуется, хочет всё Чепрыкино скупить. Но кто-то его тормознул, что-то у него с земельным кодексом не ладится. Хрен бы с ним, лишь бы голубятню не трогал.

Если же криминал начнётся, Пашка Коле-Шкелету скажет. Или брату напишет. Чтобы какой-то Шмуль условия ему ставил! Хрен ему! Пашку ничем не купишь.

Одно настораживает: когда он Афганцу сказал, что брату напишет, тот лишь кисло поморщился и предупредил, что этого делать не следует, так как Володя ничем не поможет, а Коля-Шкелет — тем более. Разумнее компенсацию от Арнольда получить — с дрянной овцы хоть шерсти клок.

Но Пашка как-нибудь сам разберётся. За Мальвину вот только обидно — ведь Оська её мизинца не стоит. Пусть даже способный, и ума палата, но разве это честно: за компьютеры — золотую медаль?..

А что Пашка с Лизой тогда связался — так по глупости. И кто его на это подтолкнул? Кто шпаной называл? Если голубей он держит, значит, шпана? Про бородавки наметнула. Но они ведь только на руках были. Пашка и сам от них страдал. Но теперь-то он их свёл. Почти все свёл.

Голова пухнет, когда обо всём этом думаешь. Лучше уж совсем ни о чём не думать. Сидеть тихо в беседке, смотреть молча на звезды и не думать. Но просто так, без дела сидеть и ни о чём не думать — это ж какую выдержку надо иметь! Вот и ходишь, слоняешься по двору, как пришибленный, в стороне от ночных фонарей, выбираешь места поукромнее и потемнее. Благо, что никого нет, все разошлись по домам, и тебя никто не видит. Хотя и смотреть на тебя некому. Почти во всех окнах свет погашен. Лишь у Марьяши и Коли-Шкелета горит. Но им ещё рано; они и до утра иногда пьют. Собирают алкашню и пьют. Особенно не буянят, побаиваются, что кто-нибудь из соседей милицию вызовет. Уже было такое, вызывали. Марьяшу сразу отпустили, а Кольку суток десять продержали. Так что можно бы к ним заглянуть, с Колькой пообщаться и время убить. Потому как домой идти совсем не хочется. Но пьют, вероятно, у Марьяши, а у неё слишком уж сильная вонища в комнате, застаивающаяся. Вдобавок кошки: она их несколько штук держит. И все приبلудные. Соседи, когда дверь её комнаты настежь открыта, стараются побыстрее по коридору пройти. Поэтому ты идёшь не к Марьяше, а ходишь, как проклятый, кругами, слоняешься по двору. Смотришь на свои окна. А в окнах твоих света нет. Значит, мать легла спать. Вернее, ждёт тебя, лёжа в постели. Но причина, по которой ты не идёшь домой, вовсе не в том, что мать начнёт тебя ругать и расспросами допытывать. Нет, причина вовсе не в этом, в другом. Причина в тебе самом.

Во-первых, тебе уже семнадцать и спать в одной комнате с матерью, где всю ночь дребезжит холодильник, где даже люстра под хрусталь подчёркивает убогость и нищету, становится всё тягостнее. Ещё угнетает набожность матери, то, как она каждый раз перед сном крестится, разговаривая с Богом. Но здесь Пашка не властен что-либо изменить — здесь епархия иных, непонятных и недоступных ему сил и чувств. И раздражает его даже не то обстоятельство, что вот уже много лет мать перед сном молится, ухаживает за лампадкой, и в углу комнаты, за шторкой, у неё чуть ли не иконостас. Раздражает то, что Бог, которому она молится, которому искренне верит, за все эти годы ни разу её не услышал. Потому как если бы Бог услышал её, не жили бы они в старом убогом доме, в двадцатиметровой коммуналке.

И был бы жив отец. И Володя был бы сейчас не в тюрьме. И мать не горбатилась бы на стройке и не считала бы каждую копейку до получки. Вот что больше всего раздражает. Это во-первых. А во-вторых, беспокойно у него на душе, и все мысли, как их ни отгоняй, Мальвиной заняты. Ведь это он, Пашка, её Мальвиной назвал. Ещё в третьем классе. Как увидел её — так сразу и назвал. За её пышные белокурые ли волосы, голубые ли, почти небесные, глаза — сам теперь не знает толком — почему. Ему тогда казалось, что девочка, появившаяся у них в третьем классе, очень на Мальвину похожа. Хотя настоящее имя её Лена. Но пусть оно, имя, другое, для очкарика существует, а для Пашки эта девочка так и останется Мальвиной. Навсегда. На всю жизнь. И знать об этом будут только он и она. И, может быть, ещё ночные звезды, на которые ты сейчас смотришь, как, наверное, мать смотрит на икону. Смотришь и шепчешь, точно молитву: “Мальвина...”

Ты уже не слоняешься тайком по двору, а целенаправленно, ускорив шаг, выходишь дворами на шоссе и устремляешься к дому той, из-за которой беспокойно на душе, мысли о которой не дают тебе покоя, и ты не спишь ночами. Сердце начинает неровно биться, а в груди — то ли вакуум, то ли, наоборот, стукот нервов, когда подходишь к высотке, двенадцатиэтажному дому, где она живёт, и, стоя в зарослях акации, из укрытия, как тать, смотришь на её окна, в которых, конечно, уже нет света. Потому что давно за полночь. Ты мучаешься и лишь немного радуешься тому, что Оська Шмуль в эти минуты не может Мальвину видеть, не может с ней общаться. Если вот только по телефону. Но это не так страшно — по телефону. Пусть хоть до утра говорят, важно, что тебя тоже никто не видит. Ты можешь стоять в своём укрытии часами, смотреть на тёмное угловое окно третьего этажа и мечтать. Представить её спящую, с разбросанным на подушке золотом волос, небрежно скинувшую одеяло к ногам, в прозрачной, почти воздушной ночной рубашке, бретельки которой соскочили с плеч. На миг представить, как прикасаешься ты к её волосам и плечу губами, ощущая тайный, ни с чем не сравнимый, знакомый только тебе аромат её нежной кожи, аромат её молодости.

Когда ты так стоишь и мечтаешь, даже мысли об Оське не могут нарушить твоего мимолетного эфемерного счастья. И сердце теперь бьётся не от ощущения затаённой и безнадежной ревности, а от чего-то другого, самому тебе непонятного чувства. Это чувство абсолютно несравнимо с тем, какое ты испытывал, прикасаясь к Ларочкиным бёдрам, к тем её девственным потаённым прелестям, от которых ещё года три тому назад начинало закипать внутри, волновало кровь, и с тобой происходило такое, от чего ты после каждого раз немного стыдился.

Нет, теперь, в эти минуты, под окнами той, которая тебя в упор не хочет видеть, подростковый бунт плоти, тот, что когда-то притягивал к Ларочке, кажется тебе мерзким. До отвращения. Ты даже подумать об этом не можешь. Ибо те чувства, которые владеют сейчас тобой, на самом деле бесплотны и так же воздушны, чисты и легки, как прозрачная “ночнушка” той, чьё окно занавешено плотными шторами. Даже соскочившие с её плеч шёлковые бретельки — это лишь плод твоего воображения, так сказать, конечная инстанция твоих мыслительных действий. Впрочем, можно ещё представить, как ты губами прикасаешься к её плечу. Но не более. Дальше — запрет, которому, по не объяснимой тебе самому причине, ты всегда повинуешься. Так как совсем не хочешь, чувствуя интуитивно, чтобы образ той, единственной девочки, которую когда-то оскорбил и за которую готов в любую минуту пойти, наверное, на самое непредвиденное, вдруг незаметно сменился бы образом Ларочки. Ведь ты совсем этого не хочешь. Тебе трудно представить, страшно представить, что Мальвина когда-нибудь, пусть даже в далёком будущем, вдруг станет подобием Ларочки. Такого просто не может быть. Какие-либо сравнения с Ларочкой тут просто исключены. Ты отгоняешь от себя эти мысли. Зачем-то бросаешь оценивающий взгляд на водосточную трубу, балкон, на плотно зашторенное окно... Но будто бы о чём-то вспомнив, без раздумий срываешься с места и быстрым шагом, почти бегом, уходишь прочь. На сегодня достаточно. Всего достаточно: и школы, и ули-

цы, и... Даже от мыслей о Мальвине начинаешь уставать. Поэтому большую часть дороги — шоссейки, освещаемой ночными фонарями, ты бежишь слома голову и замедляешь свой бег, когда сворачиваешь в тёмный переулок, где фонари светят слабо или их вовсе нет. Лишь возле дома ты переходишь на шаг, осторожно, чтобы не напороться на разросшийся шиповник, стараясь отдышаться, остыть. Медленно поднимаешься по скрипучим ступенькам на второй этаж. И лишь одна мысль теперь тревожит тебя: уснула ли мать?

8

Самое паскудное, что всегда в таких случаях, когда приходишь за полночь, чувствуешь себя виноватым. И поэтому злишься. Догадываешься, что мать не спит, а тихо лежит на кровати в темноте, отгородившись занавеской. Но злишься больше на себя. Точно червь тебя гложет изнутри. Даже тишина. И что мать молчит, тоже гложет. И ты на цыпочках, сняв в коридоре кроссовки, не включая света, крадёшься к дивану. К лёгкому стыду своему обнаруживаешь на нём плотно укутанную в одеяло кастрюлю. Так происходит почти всегда, если ты возвращаешься поздно. Ты к этому почти привык. Не привык лишь к тому, что матери рано вставать на работу, а ты ошивался Бог знает где. И она должна терпеть твоё упрямство, твои выходки, твой “переходный возраст”. А точнее — твоё тихое хамство. Иначе твои поступки никак назвать нельзя. Ты это почти понимаешь, наедине с самим собой даже осознаёшь. Но никак не можешь себя переломить. Не получается. Ты жалеешь мать. Очень жалеешь. До такой степени жалеешь, что ненавидишь себя, ненавидишь эту убогую комнату, ненавидишь эту дворовую, в сущности, собачью жизнь. Но усилием воли стараешься сейчас себя сдерживать, не грубить, успокоиться, так как слышишь — мать ворочается, глубоко вздыхает, не спит.

Да, ты себя сдерживаешь. Осторожно, почти бесшумно, разворачиваешь одеяло. И руки ощущают тепло. И ещё газету. Мать всегда сначала оборачивает кастрюлю газетой, а потом одеялом. Чтобы дольше сохранялось тепло, чтобы “упрело”. Но газета шуршит: как бы аккуратно ты её ни разворачивал, кажется, что шуршание слышно по всему дому.

— Молоко в холодильнике, — вдруг негромко обронит из своего угла мать. Ты на мгновение, сжавшись в нервный комок, стиснув до скрипа челюсти, ещё сдерживая непонятное нахлынувшее раздражение, лишь произнесёшь нелепое, почти бессмысленное, до тошноты пошлое: “Ладно”. Потому что ты сам мог бы догадаться, что молоко в холодильнике, ибо твоего носа уже успел достичь духовитый запах упревшей гречневой каши — ещё горячей, почти не успевшей остыть, которую ты любишь есть с холодным молоком. Но мать нарочно, когда шуршал газетой, напомнила о молоке. Нарочно. Чтобы знал: она не спит. Из-за него не спит, дабы лишний раз напомнить ему, что ей завтра рано на работу. А ему — “хоть бы что, хоть мать с ног вались, ему — хоть кол на голове теши...”

И ты уже не очень осторожничаешь: включаешь ночник, накладываешь себе в тарелку кашу, достаёшь из холодильника молоко, отрезаешь от батона большой кусок и начинаешь с жадностью есть, обнаружив вдруг в себе звериный аппетит.

Странно, но ты действительно так проголодался, что не замечаешь, как голова становится совершенно пустой, будто деревянной: мысли, те оставшиеся ещё разрозненные, точно клочья молочной пенки, мысли постепенно оседают вглубь тебя, проваливаются вместе с кашей и молоком через пищевод в желудок.

“Голод не тётка”, — говаривал отец. Пашка иногда задумывался: что же это могло означать? Суть он вроде бы улавливал, как говорится, коню ясно, о чём речь: проголодался человек, да так, наверное, проголодался, что живот сводит. Но при чём тут “тётка”? Как он над этим голову нил ломал, получалась путаница. Мозги не могли переварить соединение “голода” с “тёткой”. Два, казалось бы, абсолютно разных понятия, а их противопоставляют, как, например, чёрное и белое, воду и землю. Ясно же: тётка и есть тётка, други-

ми словами, человек женского пола. То есть нечто материальное, что можно увидеть, потрогать и т.д. А голод? Разве его можно увидеть или потрогать? Чувшь, абсурд. Голод можно только почувствовать. И не руками. Даже не животом. А непонятно чем. Слюной, может. Когда жрать хочется, и ты думаешь о вкусной пище или, более того, видишь, как кто-то навораживает за обе щеки, — разве не исходил слюной? Ещё как! Но только опять что-то не сходится: слюна есть слюна, а голод — он и есть голод.

Отец говорил: когда мужик голоден, то всегда злой. Пашка и от матери слышал: дескать, поел и сразу лучше стал.

Что правда, то правда, Пашка на себе это много раз испытал. Вот и сейчас — поел, и вроде как на душе полегчало. Вся злость куда-то подевалась. Все проблемы в животе улеглись. И Мальвина — трудно сказать, в каком уголке желудка поместилась.

От таких мыслей иногда самому смешно становится. У него часто бывает: подумает о чём-нибудь таком — нестандартном — и усмеётся. Мать его на этом поддавливала: “Ты чего, как старик, сам себе смеёшься?” А он и не знает, что ответить. Потому что если рассказать ей, над чем усмеялся, то совсем не смешно будет, а, наоборот, глупо. Наверное, поэтому и говорят: “смех без причины — признак дурачины”. Только словами этого не передать.

— В школу-то зачем вызывают? — неожиданно из своего угла спросила мать. — Что ты там ещё натворил?

В самый момент хорошего настроения спросила. Когда поел. Психолог!.. Но Пашке и правда вовсе не хочется дерзить. Во-первых, лень — после каши-то с молоком, а во-вторых, уже самому кажется, что ничего особенного не произошло. Не ограбил же он никого, не убил. Подумаешь, юбку училке задрал. Не будет рукам волю давать. К тому же она не намного старше его, Володя, брат, куда старше.

— Кто тебе сказал-то? — переспрашивает он.

— Миша заходил, а зачем в школу вызывают, не объяснил. Случилось что?

Правильно, что не объяснил, думает Пашка. На Понника он не в обиде: кто-то ведь должен был сообщить матери. Сам бы он не решился.

— Так что случилось? — допытывается мать.

— Пустяки, утром скажу.

Не будет же он, в самом деле, в час ночи объяснять матери во всех подробностях, зачем её в школу вызывают. Как говорится, будет день — будет пицца. А теперь спать.

Софочка, конечно, к уроку его не допустит. Но английский по расписанию завтра четвёртым. Поэтому дурить особенно ни к чему и в школу пойти надо — вдруг всё обойдётся. Успеваемость у него в норме, и никому не выгодно отчислять его перед выпускными экзаменами. Многие так считают: и Афганец, и Коля-Шкелет, и Слава Романов, и Миша Понник... Почти все так считают. А Пашка просто погорячился: это надо же — весь день в голубятне просидел! Как в тюрьме. Кому он что доказал?! Правильно Афганец говорит: судьбе надо идти наперекор, брать за жабры, иначе она тебя за жабры возьмёт. А сопли распускать, обижаться... На обиженных воду возят! А Пашка — не водовоз и никогда им не будет. Неприятно лишь, что придётся перед Софочкой Гольдберг извиняться.

Но ничего, он терпит. Противно другое: что Софочка будет им с матерью мораль читать. Пашка в этом нисколько не сомневается, потому что у неё большое место — мораль. Вот что обидно. Просто как нож по сердцу. Мать-то в чём виновата? Её за что унижать? А у Софочки в крови — унижить человека. И придётся молчать, терпеть, соглашаться со всем её враньем. Ведь скоро выпускные экзамены, а у Пашки с английским, как у араба с евреем, — своя Палестина.

Если б был он на месте очкарика, если б у матери было столько же денег, сколько у Оськиного отца, с английским проблем не было бы. И всё было бы по-другому. У него денег, ни отца у Пашки нет. Есть старший брат — и тот в тюрьме. А мать от полочки до полочки перебивается, копейки считает.

Пашка вовсе не завидует Оське, каждый должен быть на своём месте — это он хорошо понимает. Но почему кто-то должен ишачить всю жизнь,

лишь бы себя прокормить, а кто-то каждый месяц на Кипр летать? У них что — копи золотые появились? Или клад помещика Чепрыкина нашли? Мать рассказывала, что Арнольд Иосифович Шмуль, Оськин дед, когда в бараке по соседству жили, часто к ним за чем-нибудь приходил: соли попросить ли, чесноку... Оськиному отцу, Арнольду, тогда было меньше, чем сейчас Пашке. И мать никогда ни в чём не отказывала. И с Оськой Пашка в один детский сад ходил, в одну группу. Кровати их рядом стояли...

В Пашке вовсе не зависть говорит, но... несправедливо как-то. По всем статьям — несправедливо.

Прошлым летом Афганец на своей машине Пашку и мать к Володе на свиданку возил: от брата письмо пришло, что его из Владимира в Коми отправляют. С Володей им встретиться не разрешили, но передачу взяли. На обратном пути домой Афганец показал дачу Арнольда — по какому-то важному делу к нему заезжал. Пашка и мать в машине остались, ждали. Так надо заметить — это пейзаж! По телевизору часто дачи показывают — генералов и прочих чиновников, которые на ворованные деньги отстроились и ряхи понаели. Так их лачуги можно сравнить с дворцом Арнольда примерно в такой же пропорции, как голубятню с Домом Советов. Тогда-то Пашка от матери и услышал об Оськиных предках, как в одном бараке с ними жили. До тех пор, пока бараки не снесли.

Пашке, разумеется, незачем знать, какие дела у Афганца с Арнольдом, но сам по себе этот факт не очень вяжется с характером Афганца: его же слова, что такие, как Шмуль, страну раздербанили, последнее у народа отбирают и под себя гребут. Это же факт. Значит, Шмуль — зло. А если зло — с ним надо бороться. Но Афганец иначе рассуждает: если у зла есть деньги, значит, есть власть. Против же власти не попрёшь, власть необходимо уважать. Поэтому надо находить компромисс. А компромисс только в одном — заставить Арнольда делиться награбленным.

Конечно, так долго несправедливость продолжаться не может. Афганец это чувствует. По всем направлениям чувствует — происходит что-то не так. И дело даже не в “бабках”. Но Афганец темнит, не всегда его понять можно. Как-то он признался, что мог бы в наёмники пойти. Лишь бы хорошо платили. А так, за бесплатно лоб под пули подставлять — дураков нет. Тем более он инвалид, куда ему без руки? Если б и взяли наёмником, много бы он с култей заработал?

Афганец Володи дожидается, хочет “фирму” с ним организовать. Подогрев брату от него ведь идёт, от Афганца. Мать одна бы не потянула. Жрать-то на зоне нечего. Там у работяг даже работы нет, все срока тянут, как могут. Брат в письме написал, что есть маленькая столярка, да разве она прокормит? Но Володя всё равно бы работать не стал, ему нельзя, не принято у них.

Его почему-то многие ждут. Даже менты. Выручка, участковый, так и сказал: если освободится брат, может, и у них в городе порядок будет, а то беспредельничают многие, особенно молодёжь. Лично Пашка этих слов не слышал — Выручка их Коле-Шкелету говорил. А Колька — Пашке. Правда, Колька в тот раз пьяный был. Или обкуренный. Его не поймёшь. И когда говорит, тоже не поймёшь — горбатого лепит или правду. Но если он начинает стихи цитировать:

*Ты кончай мне про свободу говорить,
Я не знал её с семнадцатого года,
А поэтому я пил и буду пить... —*

всё, значит, Колька в кондиции. Он почему-то в такие минуты уверен, что в России всё равно будет по справедливости, так, как завещал великий вождь. И никакая другая свобода, о которой теперь талдычат, ему не нужна. У него своё понимание имеется. А вот американцы ещё пожалеют, что своими империалистическими граблями его, Колькину, родину лапают и чьестных воров в тюрьмы сажают: “Они первые запустили бумеранг свободы, — как лозунг, любит иногда провозглашать он, — к ним этот бумеранг и вернётся. И снесёт башку их статуе, которая давно уже прогнила”.

А то ни с того ни с сего начинает нести всякую ахиною, родину проклинать и в Китай к тибетским монахам всех агитировать. Как оголтелый принимается орать: “Поменяли хулигана на Луиса Корвалана; где б найти такую...” Короче, примерно в таком роде. Это говорит уже о том, что Колька — в ломину, и ему недалеко до белой горячки. Его и уведят домой, когда он “Сербияночку” петь начинает:

*“Сербияночку” плясать надо с сображением:
Руки-ноги задрожат — в голове кружение.
“Сербияночку” сплясать — надо пуп почесать,
Когда пуп почесу, “Сербияночку” спляшу.*

Несколько раз Коло-Шкелета под “Сербияночку” в “Яковенко” отправляли, в психушку, потому что в белой горячке он убить запросто может. Однако Пашку ни разу в таком дурном состоянии не тронул, и, помнится, Пашка у него даже топор отобрал. Никто не подошёл к Кольке — все боялись, что зарубит, а Пашка подошёл и отнял у него из рук топор. И Колька плакал, как ребёнок, — белая горячка у него началась. Врачи говорят, что он уже неизлечим. К тому же туберкулёз у него, хоть и в закрытой форме. Об этом многие знают и потому жалеют. Когда он говорит о родине, его все слушают и соглашаются, чтобы не сердить.

А будет ли порядок в городе или нет, не Пашке судить, но рыба с головы гниёт. Сейчас только об этом и твердят. За примерами ходить далеко не надо. И какой порядок в городе можно навести, если даже в школе порядка нет? Всё упирается в деньги. Пашка подозревает, что Софочка Гольдберг специально его вчера спровоцировала. Ведь он ей ответил урок? Ответил. Плохо ли, нет ли — вопрос другой. Но ответил же. Чего же цепляться? Ставь двойку, если плохо. А она специально его доставать стала: понимала, что Миша Понник за Пашку вступится. То есть знала его реакцию. Так оно и вышло. Потому что у Миши обострённое чувство справедливости. Наивный, как мяч: сидел бы со своим чувством и помалкивал. Пашка как-нибудь сам с Софочкой разобрался бы. Ведь он ей про Душмана брякнул, когда она Мишу из класса удалила, а им двоим “неуд” в журнал поставила. Так что Поннику теперь точно не видать золотой медали, как Коле-Шкелету — собственную наголку на заднем месте.

И ведь поставила “неуд” на предпоследнем уроке английского. До этого у Миши одни пятёрки были. Все в классе возмутились. Даже Мальвина. Только Оська Шмуть злорадствовал. Он и над Пашкой иногда куражится. Без свидетелей, разумеется. И насмехается, гад, интеллигентно, придраться не к чему: “Ты, — говорит, — для Ленки (Мальвины то есть) Рогожин из “Идиота”, только без средств”. Вот и думай тут — оскорбление это или нет? Что это за тип — Рогожин? Не “идиотом” же Шмуть его назвал. За идиота он быстро бы схлопотал. И стоишь — баран бараном, не знаешь, как реагировать, что ответить.

Понник позже объяснил Пашке: у Достоевского роман есть “Идиот”. А Рогожин — купец богатый, миллионер. В бабу до одури влюбился и зарезал её, в конце концов, из-за ревности. Помешался, словом. А в остальном — нормальный мужик, не жлоб. Чем-то Афганца напоминает. Когда Пашка очкарику свои мысли насчёт Рогожина изложил, тот даже рассмеялся: “Ты, — говорит, — элементарных вещей не понимаешь: тебе после школы или грузчиком, или в бандиты идти надо”. Ну, не сволочь! Интеллигент липовый!.. Пашка не то чтобы обиделся, а растерялся напрочь: вроде бы и обидно — за грузчика, но с другой стороны, посмотришь: чуть ли не каждый сейчас в бандиты идёт. Даже Витька-Клоп: от горшка два вершка, а уже киллером мечтает стать. А кем же ещё? Бухгалтером? Или как Виталик — халдеем в ресторане? У новых русских шестерить? В приличное место фиг устроишься; заводы все позакрывали, сплошная безработица. А челноком или на рынке торговать — нужно ли тогда среднее образование? Лучше уж, действительно, в бандиты...

Но больше всего задело другое: не получится, мол, ничего у Пашки с Мальвиной, а “душевный мазохизм вреден для здоровья”. Пашка сначала не понял, но очкарик пояснил: “Самоистязание из-за пустяков. А женщинам в мужчинах нравится трезвый ум, сильная воля и аристократизм”. Выходит, у Пашки этих качеств нет. Если он голубей держит, значит, шпана. Но ведь он нравился Мальвине. Они даже целовались как-то, в восьмом классе ещё.

“У тебя пухлые губы, — сказала она тогда, — но ты целоваться совсем не умеешь”. Так, наверное, каждая девчонка парню говорит, если хочет показать себя опытной, а сама никогда раньше не целовалась и не знает, как это делается. Пашка в тот раз не придал её критическим замечаниям большого значения. Лишь совсем недавно стал задумываться. “Ты, Паша, конечно, красивый мальчик, но Оська аристократичнее. Если б тебе его мозги, получился бы неплохой экземпляр”. И ещё: пусть он, дескать, не обижается, но он, Пашка — мальчик из подворотни, девушкам такие не очень нравятся, то есть совсем не нравятся, с такими быстро наскучивает: “Голуби, гитара, десантные войска... — всё это хорошо, но скучно”.

Он, конечно же, не обижался. Разве он мог обидеться на Мальвину. Когда Пашка о Славке Романове ей рассказывал, о том, какие он песни “жалистные” поёт (так и произнёс: “жалистные”), Мальвину аж передёрнуло: “Странно, — озадаченно произнесла она, — учимся в одной школе, даже в одном классе, а разговариваем, как люди из разных эпох”. А когда она ему о чём-то рассказывала, складно так рассказывала, красиво, он её неожиданно перебил и заверил, что тоже научится так красиво говорить. “Идиот! — вырвалось у неё. — Я тебе Бунина цитировала. Это же Бунин. Понимаешь ли ты?!” Пашка никогда её такой не видел — взбешённой.

После этого между ними словно кошка чёрная пробежала. Но он на скандал не шёл, старался всячески сгладить её нервозность по отношению к нему. А в конце мая, ровно два года назад, перед началом экзаменов тюльпаны ей чёрные в школу принёс. Красивые очень. Пашка у Ларочки их вымолил. У неё был большой букет чёрных тюльпанов. Афганец раздобыл: у иностранца знакомого купил, за доллары. Много купил. Так Пашка на коленях Ларочку упрашивал, чтобы несколько цветов продала. Но она бесплатно ему подарила — пять штук — за то, что на колени перед ней встал. Он ей всё равно благодарен. И вот тюльпаны эти он Мальвине в школу принёс. Весь класс ахнул. Она сначала взяла, а потом назад их вернула, сказала, что с кладбища ей цветы не нужны. Пашка даже офонарел: почему с кладбища? Шмуль здесь же рядом находился и объяснил, что такие чёрные тюльпаны два дня тому назад видел на кладбище, на могилах воинов-интернационалистов. Пашка растерялся: при чём же здесь он? А при том, оказывается, что у нас в России чёрные тюльпаны не растут, и значит, Пашка их стащил с кладбища. Вот такая логика получается. Доказывай теперь, что ты не верблюд. Признаться, что цветы ему дала Ларочка за то, что на колени встал, а Ларочке — Афганец подарил, который, в общем-то, и купил цветы для погибших воинов-интернационалистов? Тоже не выход.

Он от сей коварной несправедливости так адреналином переполнился, что не сдержал его вовремя Миша Понник, убил бы очкарика, на части бы разорвал. Ведь Шмуль не только перед Мальвиной — перед всем классом его тогда опозорил, чуть ли не подонком его выставил. И ведь многие поверили. А Мальвина подлецом его назвала. Так и сказала при всех: “Подлец!” Он её этими тюльпанами по лицу и хлестанул. Ещё и жидовкой обозвал. Короче, сорвался. Быть может, потому с Лизой и Гундосым тогда пошёл. Вот же дурак! Будь они неладны — тюльпаны эти...

9

Вчера Коля-Шкелет повесился. Вернее, сегодня ночью. Марьяша утром весь дом на ноги подняла охами да ахами. Рассказывает: “Ночью пили, весёлый был, не буянил вовсе. После ушёл: жарко, говорит, устал. Я утром к нему заглянула — похмелить, а он сидит на полу у подоконника, спиной к батарее... в штанах, до пояса раздетый. Я ему: Коль, Коль, а он холодный

уже, и верёвка за ухом. На батарее повесился, на трубе. Может, травкой обкурился, после меня-то?..” И вздыхала: “У него, наверное, и костюма приличного нет, чтоб похоронить... На Тибет всё собирался... Дошёл теперь”.

Все в доме знали, что Коля-Шкелет травкой балуется. Часто, когда подвыпьет или покурит травку, к тибетским монахам собирался идти. И непременно пёхом. Он и Пашку с собой звал. Жалко его. Весь дом его жалеет. Несчастный он. Мать сказала: “Тридцать с лишним лет прожил, а ничего в жизни хорошего не видел: двор, водка да тюрьма. Даже Володю не дождался. А как хотел Володю дожидаться! Вот она — жизнь, хуже атомной войны, прости меня, грешную”.

Пашка от таких слов прослезился даже: такой поганый ком к горлу подкатил, что слёзы сами потекли. Он и не стеснялся их, а ладонями по щекам размазывал. Ну, правда ведь, жалко Кольку. Как представил на его месте брата — вовсе немоготу стало. Но это длилось недолго, минуту. Слёзы вдруг сами собой прекратились, высохли, и Пашка успокоился. Словно не он только что по щекам их размазывал, а другой человек. Лишь глаза немного покраснели.

Пока “скорую” вызывали, милиция успела приехать. Но тут и постороннему ясно, что он сам повесился. Поэтому они долго не задержались. А Кольку до приезда “скорой” положили на пол, на старое покрывало. Он так и лежал до приезда врача, до пояса голый. Грудь у него располосована вся, в шрамах старых от поножовщины. Ещё от братьев Мордасовых. И синяя вдобавок — из-за татуировок. У него и спина такая же — в шрамах и синяя, с куполами церковными и ангелами, а под горлом, вдоль ключицы, финка с резной ручкой наколота. Но Пашке больше нравится на внутренней стороне правого предплечья паук, тарантул. Очень красиво сделано. У него много всего разного. Врач, когда Колькино тело осматривал, восхитился: Эрмитаж, говорит, настоящий.

Потом Кольку увезли в морг. А перед тем, как увезти, Марьяша с шофёром матюкались: он о деньгах за транспортировку трупа намекнул. Но откуда деньги-то? “Покойник не работал нигде”, — это Марьяша так выразилась: “покойник”. И сама она, дескать, пенсию маленькую получает. Без матюков не обошлось. Водитель “скорой”, молодой мужик, лишь криво усмехнулся: мол, он и сам знает, что покойники не работают. Так ни с чем и уехали — шофёр, врач и медичка. Колю-Шкелета в морг повезли. А Марьяша стала рыться в Колькиной комнате — документы необходимые искать и бумаги, адреса, чтобы родственникам телеграммы разослать. Жил-то он один. Но это не значит, что у него никого нет. Есть. Мать где-то под Серпуховом. И две сестры: старшая и младшая. Колька средним был. У него и жена с ребёнком есть, но она с ним давно развелась. Как только его второй раз посадили, так она сразу на развод подала. Впрочем, неинтересно это, скучно, когда речь заходит о разводах, и за глаза гадости говорят. Человек умер, горе, а тут сплетни: кому теперь комната достанется... Пашка этого не любит. А от соседей ничего путного, кроме сплетен, не услышишь. К тому же в школу надо идти. Но сначала он в голубятню сбежал — птицам корма дал. Лишь потом на уроки пошёл. Хотя какие теперь уроки... экзамены на носу.

Полдня в подавленном настроении находился: всё о Коле-Шкелете думал да о брательнике. Но это тоже неинтересно и мрачно. Особенно муторно вспоминать, как он перед Софочкой Гольдберг в учительской извинялся, как она его перед всеми в учительской отчитывала. И Бурцева отчитывала. И мать: она рядом стояла и со всеми Софочкиными доводами соглашалась. Подзатыльник ему влепила. Не сильно, а так, для вида больше. Всё равно стыдно было, хоть сквозь землю провалиться... Не только за себя стыдно, а вообще стыдно, за всех. За Софочку стыдно, за директрису... Ведь все всё понимают, а делают вид, что Пашка один виноват. Это же совсем не так. Ну, естественно не так. Ведь всё из-за Оськи, чтобы ему золотая медаль досталась. Вот и отработывают арнольдские деньги. Унизительно это. Так унизительно, что... его б воля, взорвал бы школу к едрене фене. Но вряд ли получится: одной “лимонки” маловато будет, стены-то кондовые. Если вот только самого Арнольда? Как в кино: “Получи, фашист, гранату!” Он каж-

дое утро в одно и то же время на своём вишневом “Чероки” на шоссе мелькает. По нему можно даже время сверять: очкарика к школе подбросит и дальше погнал.

Но Арнольда нельзя, всё-таки Оськин отец. Пашка испытал, что значит жить без отца. Плохо, не то слово. Хреново — тоже вроде бы не то. Сердце порой так защемит, когда об отце думать начнёшь, что... бляха-муха, лучше не думать.

Так что Бог с ним, с этим Арнольдом, пусть живёт. Афганец говорит, если б не Ерусалимец, Пашку давно бы из школы отчислили. Может быть, оно и так, а может, и нет. Может, здесь что-то другое. Просто Арнольд брата побаивается...

Ладно, ни к чему гадать, всякими глупостями мозги себе засорять, главное — с Софочкой пронесло, Бурцева всё-таки успокоила её. Так что Пашка отсидел все шесть уроков и сразу же домой умотал. Марьяше помочь с Колькиными похоронами, старая ведь она и больная, хоть и пьяница. Вот только где деньги брать на гроб, венки, поминки? Сейчас повеситься легче, нежели человека похоронить. Витька-Клоп Пашке на перемене сказал, что его, Клопа, мать уже пошла по соседям деньги на похороны собирать. Марьяша, было, хотела, но ей никто бы не дал. Кто пьянице доверит деньги? С другой стороны, много ли соседи дадут? Если даже Пашка свои добавит, которые накопил, чтобы китайских чаек купить, — всё равно мало будет денег.

Вот он и сидел на скамейке возле подъезда, думал, где бы денег достать. Так сказать, решал проблему. А проблемы и не было, оказывается, всё само собой решилось, когда Афганец на иномарке с Ларочкой подъехал. Кто-то ему уже сообщил, что Коля-Шкелет повесился. Он и приехал уточнить, когда похороны. Пашка ответить ему на это ничего толком не мог, и они пошли к Марьяше. А она уже датая, блин, аж зла не хватает. Афганца увидела и запричитала, сразу напомнила, что Кольку хоронить не в чем, то есть приличного у него для такого случая ничего нет: “Весь гардероб облазила, а ни одного приличного костюма у него не нашла”.

Пашка думал, Афганец её куда подальше пошлёт, а он усадил её на табурет и вежливо расспрашивать стал, что да как... Пашку за бутылкой послал — у него в машине всегда что-нибудь выпить имеется. Пашка на всякий случай в бардачок заглянул, но ничего “такого”, кроме выпивки, на этот раз не обнаружил. Когда же он “Смирновку” принёс, Афганец похмелил ещё Марьяшу и сказал, чтоб все документы для оформления похорон она парню бы отдала, которого он пришлёт, а уж тот всё сделает, как надо. Лопатник свой открыл и стал деньги отсчитывать. У Пашки аж дыхание перехватило: неужели Марьяше даст? У неё тоже глаза заблестели и руки задёргались, протрезвела быстро. Но он отсчитал с десятков бумажек крупными купюрами и отдал их Пашке, чтоб Колькиной матери передать, когда приедет. Или сестрам его. Словом, родственникам. Чтоб всё было по-людски и чтоб Пашка за всем этим лично проследил. А приедет теперь Афганец лишь в день похорон, так как у него дел невпроворот, а времени в обрез. И ещё: “Один венок чтоб от братвы был”. Так на ленте и написать: “От братвы”. И чтоб непременно с оркестром. А если “бабок” не хватит, пусть тому парню, которого пришлёт, скажут. Хотя, по его мнению, должно хватить. Ведь не пустыми родственники приедут. И напоследок предупредил, чтоб на Колькину комнату рот не разевали, жилец уже есть.

Весь разговор занял несколько минут, и Афганец с Ларочкой укатили. А Пашка снова на скамейке стал дожидаться парня, которого должен Афганец прислать. Даже в голубятню не пошёл. И покуда ждал, в подъезд к ним два алкаша зашли. К Марьяше, вероятно, направились, “Смирновку” допивать. Точно мухи дерьмо, чувят, когда вышивка есть. Всё-таки правильно Афганец поступил, деньги ему отдав, а то ведь у Марьяши наверняка вытащили бы.

Парень от Афганца приехал быстро, и они вместе опять пошли к Марьяше. Она уже и лыка не вяжет, и двое алкашей при ней. Но документы все нашла и отдала. Так что в тот день они успели многое сделать: и в загс захватить, и гроб заказать, и венки, и похоронки отправить — телеграммы то

есть. Правда, без свидетельства о смерти им документ не дали, чтоб можно было на кладбище хоронить, но они и на кладбище успели съездить, договорились без “свидетельства”, чтоб могилу вырыли. С тем парнем быстро всё получалось, он даже на бандита не похож вовсе. Лёха его зовут. Он сам сказал: “Зови меня Лёха”. Они ещё успели три ящика водки купить и кое-что из продуктов и перенести их из багажника “Жигулей” в Пашкину комнату. Мать дома уже была, но она сразу поняла, для чего водка с продуктами.

К вечеру из Серпухова Колькина мать приехала и одна из сестёр, кажется, старшая. В чёрных платках уже приехали. Лёха с сестрой договорился утром ехать за костюмом и в морг за свидетельством о смерти. Пашка ей деньги отдал. Вначале-то Лёхе думал их отдать, но он не взял, сказал: кому велено передать, пусть Пашка тому и передаст. Лёха и на венки, и на водку и прочее другие деньги тратил. Но пусть они с Афганцем сами между собой разбираются. А Лёха уехал, когда темнеть стало. Он и завтра, и послезавтра в их распоряжении будет, пока Коло-Шкелета не похоронят. Так Афганец приказал.

В общем, весь день суматошным был. Пашка и боевик смотреть не стал: лёг на диван и сразу уснул, как убитый. А утром к голубям сбегал и опять в школу пошёл. Короче говоря, этот день такой же дурной был, как и предыдущий. Но Пашка уже никуда с Лёхой не ездил, а по разным мелочам помогал: мусор всякий из Колькиной комнаты выносил, в магазин за хлебом бегал. Пустых бутылок у Кольки больше сотни, наверное, накопилось. Бутылки он в Марьяшину комнату перенёс, она их после с алкашами в палатку сдаст.

Всё же Марьяша молодец, на второй день совершенно трезвая была и Колькиной матери помогала в комнате прибраться. Полы помыла, ну, и всё прочее делала, что в таких случаях полагается. Чёрный платок повязала и советовала: когда покойника из морга привезут, гроб в комнату не заносить — возле подъезда пусть постоит, во дворе. Потому что когда Сёму её хромого хоронили, царство ему небесное, гроб чуть не опрокинули: очень уж неудобная у них лестница, и пролёты узкие.

Пашкина же мать в церковь ходила и батюшку о чём-то просила. А он вроде бы отказал. Но Пашка точно не знает. Надо было Афганца в церковь заслать, он бы с попом быстро договорился. Правда, иконка в Колькиной комнате появилась, и свечи тоже. Их мать принесла. Свечку в маленький гранёный стопарь поставили; если одна догорала, зажигали другую.

На второй день Колькиной смерти хоть и суетно было, но поспокойнее. Все почему-то не то чтобы шёпотом разговаривали, а тихо. Лишь Лёха нарушил эту погребальную тишину, когда с Колькиной сестрой вернулся: с костюмом они ещё рубашку и ботинки купили. Его рано в этот день отпустили, так как всё уже успели сделать и подготовить. Он и уехал до следующего утра. Пашка же весь вечер почти без дела слонялся; так, столы принести да доски, чтобы было на чём сидеть во время поминок. Учебники в руки не брал и уроками не занимался. Мать за это сердилась — ведь пора к экзаменам готовиться. А после махнула на него, мол, всё равно завтра суббота. И Пашка вспомнил: действительно — суббота, а ведь забыл, с Колькиными похоронами совершенно забыл, что завтра суббота. А с понедельника и уроков не будет, лишь консультации начнутся. Он и к Мальвине не пошёл, то есть не стал под окнами её дома в зарослях акации прятаться, рано лёг спать, чтоб утром с Лёхой в морг ехать.

Но утром они сначала в лес съездили — лапник еловый нарубили, а уж после в морг. На Лёхиной машине Пашка, а на автобусе, который в ритуальных услугах заказали, Колькина младшая сестра с мужем — они к этому времени с детьми приехали. Вчетвером в морг и отправились: Лёха, Пашка и младшая сестра с мужем.

Когда Кольку из морга привезли, возле подъезда народ уже собрался, ждали. Пашка и не думал, что так много людей придёт.

День погожий выдался, тёплый. Братья Мордасовы пришли. Щека появился. Пашка его сто лет не видел, думал, что он спился и сгинул давно. Слухи такие ходили. А вот же он — живой, оказывается. Словом, почти все, кто знал Коло-Шкелета, пришли его в последний путь проводить.

Афганец с Ларочкой подъехали и ещё несколько машин, когда гроб возле подъезда уже стоял. Ларочка, как и положено, — в чёрном. Увидела Кольку в гробу и заплакала. Было от чего заплакать. Колька чисто выбритый лежал, в новом костюме коричневого; он при жизни никогда фартово не одевался, если на свадьбу только. Ларочку и прорвало: уткнулась Афганцу в плечо и плачет. Он ей ничего, конечно, не сказал. Баба есть баба. Пашка, глядя на неё, сам чуть было не заплакал, но сдержался в этот раз. А она плакала, будто Афганца хоронят, а не Кольку. Странно, Пашка её такой красивой никогда не видел. Ненароком даже подумал, что она вовсе не хуже Мальвины. Может, в чём-то и лучше. Вряд ли Мальвина о Пашке стала бы плакать.

Ну, а потом оркестр заиграл, и гроб понесли. Почти все бабы заголосили: и Колькина мать, и сёстры его, и Марьяша... И Пашкина мать заплакала, кончик чёрного платка часто к глазам прикладывала. А гроб долго несли, до самой шоссейки. Оркестр траурную играл. Венков много было и цветов. Сейчас так и не хоронят, наверно, денег-то у людей нет.

На кладбище тоже многие поехали, даже те, кто языками чесал и втихую, бывало, поругивал Кольку. Витьки-Клопа мать и ещё кто-то остались — столы к поминкам подготовили. Тем, кому в автобусе места не хватило, в иномарках разместились. Афганец молодец, всё предусмотрел. Пашку надоумил в голубятню сбежать. Пашка две пары кружастых чеграшей в садок посадил и взял на кладбище.

Медленно ехали, полчаса, не меньше. Первым — автобус с траурной лентой, за ним — легковушки. Торжественно, эскортом ехали. На кладбище всё уже было подготовлено. Работяги могилу глубокую выкопали: Пашка с Лёхой специально место хорошее выбирали.

Когда гроб опускать стали, Пашка голубей запустил. Они плавными винтами вверх пошли, несколько кругов сделали и улетели. Оркестр их спугнул. Кто-то из Мордасовых музыкантам “Мурку” заказал, когда гроб уже закапывать стали. Но Афганец сказал, что “Мурку” играть не надо, так как Колька вором не был.

Старушки судачили, что с погодой повезло; в хороший день хоронят — церковный праздник преподобной Евфросинии Полоцкой. Но Пашка точно не уверен, может, напутал что.

Поминки тоже на славу получились, несколько раз за столы садились: сначала знакомые и друзья Колькины, а уж после — родственники. Никто не напился и не скандалил. И Мордасовы особенно не борзели. Морда Средний что-то начал про Кольку гнать, так Марьяша его быстро осадила: нечего, мол, о покойниках плохое вспоминать. Только Ларочка вусмерть напилась и Колькиной матери и сёстрам его стала лепить: дескать, по-настоящему одного лишь Кольо-Шкелета любила. Виталика халдея вспомнила и сказала, что он в сравнении с Колькой — чума болотная. На неё, конечно, водка подействовала, все это понимали. К тому же она ещё до поминка заквашенная была. Марьяша Пашке на ухо шепнула, дескать, достанется сучке от ейного язычка. Но Афганец Ларочку не тронул, а без лишнего шума увёл. Он, вообще-то, понятливый — Афганец.

Так и прошла суббота. И жизнь, наверное, так же пройдет — в трауре вечном. Об этом Пашка ночью думал, лёжа на своём диване. Всего-то три стопки выпил, Кольку помянул, а так разбередило, будто на самом деле жизнь к концу подошла, и нет из её мрачного тупика выхода. Мать говорит, что это всё от безверия: не верят люди в Бога, заблудшие, потому и жизнь у них такая тяжёлая. Как будто самой легко живётся. Непонятный народ — верующие.

10

Это случилось через два дня после похорон Коли-Шкелета, во вторник. Утром, как обычно, Пашка пришёл в голубятню, и его сразу насторожила тишина: не доносилось до слуха трепетного знакомого воркованья. И запах — неприятный, трудноопределимый, раньше такого запаха он не заме-

чал. Когда включил свет, открыл ящики, обнаружил, что голуби мёртвые. Все до одного. Не понял сначала — как это могло произойти, что за одну ночь подошли все голуби. Потом увидел разбитое окно, а на досках — осколки битого стекла и предмет цилиндрической формы, размером чуть меньше консервной банки из-под тушёнки. Сидя на корточках, водил лучом фонарика по нижним гнездовым ящикам, разглядывая неподвижные комочки. Их было много — комочков. Они лежали все по-разному, неестественно, некоторые с перевернутыми вверх ножками. Пашкин взгляд остановился на двух комочках, что лежали рядышком, соприкоснувшись клювами, словно молодая пара влюблённых застыла в вечном поцелуе. Это были каштановые якобинцы. Пашка боготворил их: за красоту, за гармонию их природную. Какая была осанка у якобинцев — царская! А воротничок! Словно монах выглядывал из-под кашпонона. Пашка иногда подстригал их украшение, их воротнички, чтобы перья не закрывали птицам глаза. С каким трепетом он иногда брал в руки самца и нежно начинал дуть на его пушистый воротничок. А голубь ворковал, выпучив зоб, слегка вздрагивал тельцем. Эти птицы были очень доверчивы и с большой охотой шли в руки. От них был уже приплод, и Пашка в скором времени ждал ещё. За хорошие деньги у него эту пару просили, но он не продал.

Пашка взял комочек, заглянул в мутные, подёрнутые белесой плёнкой глаза птицы и долго держал его в ладонях, сидя на корточках, пока не заняло в суставах и спине, и не выветрившийся, оставшийся еще внутри голубятни едковатый, пропитанный химией воздух не начал першить в носоглотке. Он не знал, что делать, как поступить дальше. Надо было идти в школу на консультативные занятия, готовиться к выпускным экзаменам. Но прикованным неподвижным взглядом он смотрел на мёртвого голубя. Вспомнился Коля-Шкелет: перед тем, как пойти Мордасовых мочить, он дождался с работы матери и мысленно с ней простился. Он знал, на что шёл — Коля-Шкелет. Он дал слово и сдержал его. Пашка никому слово не давал. Вернее, давал, но лишь себе самому. Значит, перед самим собой он должен его держать. И Миша Понник как-то говорил, что “В начале было слово...” Но с матерью Пашка проститься не станет, слишком много на это уйдёт времени. И потом: если решил, нечего откладывать.

Он открыл свой тайник и достал брезентовую рукавичку. С этого момента он делал всё механически, интуитивно. Ничего не ответил, когда возле прудов его окликнул Миша Понник, спешивший в школу. Не отреагировал, как обычно, когда, озадаченная его странным поведением, прошла мимо Мальвина и другие ребята. Теперь они были как бы вне его поля зрения, точнее, он был вне их досягаемости. И деревья, и солнце, и пруды — вся природа для него как бы сместилась на другую планету, существовала в другом измерении. Лишь мчавшиеся по шоссе автомобили притягивали его взгляд, и он, замедляя шаги, всматривался в каждую точку, в каждый контур приближающейся встречной машины, боясь пропустить ту, а точнее, того, кто был причиной зла, кто принёс ему беду. И не только ему.

Ещё он боялся, что не сможет осуществить задуманное, что ненависть, скопившаяся сейчас в нём, постепенно и незаметно отступит — так было почти всегда, — и в нужный момент не хватит решительности выдернуть кольцо предохранительной чеки. Он прибавлял шаги, стиснув зубы, подавлял в себе всякую жалость. “Только бы успеть, только бы успеть”, — вертелось в голове.

Всякий раз, когда далёкая точка на дороге, приближаясь, принимала формы автомобиля, его пальцы судорожно сжимали в рукавице корпус гранаты, от чего она стала немного скользкой от пота. И всякий раз приходилось заново рассчитывать время, и ни в коем случае нельзя было ошибиться. Ведь как только он выдернет кольцо чеки и опустит спусковой рычаг, сработает ударный механизм. В запасе останется максимум четыре секунды. Или пять? Совсем вылетело из головы — сколько: пять или четыре? А после броска гранаты надо будет быстро нырнуть в кювет, за обочину.

Пашка был до фатальности уверен, что тёмно-вишнёвый “Чероки” проедет, как всегда, именно по этой шоссе, мимо прудов, и непременно сей-

час и, как обычно, должен будет свернуть на главную южную магистраль. Должен будет... но Пашка этому помешает.

Когда он об этом подумал, на большой скорости, поднимая клубы пыли, показалась очередная стремительно приближающаяся точка. Кажется, это был джип, тёмно-вишнёвый. Машина возле прудов резко притормозила, и из неё выскочил Оська. Махнув рукой сидящему в джипе, он неторопливо направился к школе по узкой тропинке, что пересекала липовую аллею.

Теперь надо с большой точностью рассчитать время.

Пашка сошёл на обочину и стал вглядываться в номер машины. “А если это не он?” — мелькнуло у него, но он уже выдернул чеку. Дело в том, что, имея несколько машин, Арнольд ездил только с номером “три шестерки”, и Оську мог подвезти любой из его холуёв. Сомнения исчезли через несколько секунд: машина была арнольдовская, номерной знак совпадал. Только вот стёкла тонированные, не разобрать, кто внутри. Всё равно... он уже выдернул чеку и держал “лимонку” внутри рукавички наготове, отчего ладонь ещё сильнее взмокла от пота. Он вдруг занервничал, испугался, что бросок не получится, граната выскользнет и полетит не туда, куда надо. Но пальцы удобно, словно “притёртые”, надёжно и цепко держали смертоносный предмет.

Оставались последние секунды. Водитель джипа, будто следуя Пашкиным мыслям, убавил скорость, осторожно проезжая дорожные выбоины. В эти мгновения перед мальчишечьим взором как бы прошла вся его короткая и, в сущности, неинтересная жизнь, которую, наверно, ещё как-то скрашивали и делали более осмысленной голуби да мечты о Мальвине.

...Мать, брат Володя, Коля-Шкелет, Марьяша, отец, Сёма Хромой, Лиза, Афганец, Славка Романов, Миша Понник — все они как-то разом всплыли, скопом и в ряд, параллельно и сумбурно, пронеслись перед глазами, точно в сто крат ускоренные кинокадры; будто кто-то кольнул его иглой в определённый участок мозга. Может быть, чайка — белая-белая, у которой крылья, как пики, а кончики пик чёрные.

“Ведь я убиваю Оськиного отца”, — пронеслось молниеносно в его голове. Но боль, отчаяние, ненависть пересилили: что ж, у него, у Пашки, тоже нет отца. Он разжал чуть пальцы, ослабил спусковой рычаг. Отсчёт времени пошёл.

“Один, два...”

— Пашка! Паш! — Навстречу ему, а значит, и джипу, бежал Миша Понник. Он был в нескольких метрах от него. А ведь Пашка осматривался и посторонних поблизости не заметил. Как он мог проморгать Понника?

“три...”

Машина пронеслась рядом, обдав ребят пылью. На мгновение Пашка растерялся, замешкался. Сжав гранату, хотел снять рукавичку, но что-то мешало.

— Паш, ты что?

Резко развернувшись к Поннику спиной, он в два прыжка оказался в кювете.